Ален-Фурнье

БОЛЬШОЙ МОЛЬН



РОМАНТИКА
РОМАНТИКА
РОМАНТИКА

FATUM

Эжен Фромантен

ДОМИНИК

Большой Мольн

Ален-Фурнье

Аннотация
Ален-Фурнье. Большой Мольн
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая. НОВИЧОК
Глава вторая. ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ПОПОЛУДНИ
Глава третья. «Я ЗАХОДИЛ В ЛАВКУ КОРЗИНЩИКА»
Глава четвертая. ПОБЕГ
Глава пятая. ПОВОЗКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Глава шестая. КТО-ТО СТУЧИТСЯ В ОКНО
Глава седьмая. ШЕЛКОВЫЙ ЖИЛЕТ
Глава восьмая. ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Глава девятая. ОСТАНОВКА
Глава десятая. ОВЧАРНЯ
Глава одиннадцатая. ТАИНСТВЕННОЕ ПОМЕСТЬЕ
Глава двенадцатая. КОМНАТА ВЕЛЛИНГТОНА
Глава тринадцатая. СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК
Глава четырнадцатая. СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК. (Продолжение)
Глава пятнадцатая. ВСТРЕЧА

Глава шестнадцатая. ФРАНЦ ДЕ ГАЛЕ
Глава семнадцатая. СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК. (Окончание)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая. БОЛЬШАЯ ИГРА
Глава вторая. МЫ ПОПАДАЕМ В ЗАСАДУ
Глава третья. БРОДЯГА В ШКОЛЕ
Глава четвертая. В КОТОРОЙ ИДЕТ РЕЧЬ О ЗАГАДОЧНОМ ПОМЕСТЬЕ
Глава пятая. ЧЕЛОВЕК В ВЕРЕВОЧНЫХ ТУФЛЯХ
Глава шестая. СПОР ЗА КУЛИСАМИ
Глава седьмая. БРОДЯГА СНИМАЕТ ПОВЯЗКУ
Глава восьмая. ЖАНДАРМЫ!
Глава девятая. В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННОЙ ТРОПИНКИ
Глава десятая. СТИРКА
Глава одиннадцатая. Я ПРЕДАЮ...
Глава двенадцатая. ТРИ ПИСЬМА БОЛЬШОГО МОЛЬНА
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая. КУПАНЬЕ
Глава вторая. У ФЛОРАНТЕНА
Глава третья. ИСТОРИЯ С ПРИВИДЕНИЕМ
Глава четвертая. ДОБРАЯ ВЕСТЬ
Глава пятая. ПИКНИК
Глава шестая. ПИКНИК. (Окончание)

Глава седьмая. ДЕНЬ СВАДЬБЫ
Глава восьмая. ЗОВ ФРАНЦА
Глава девятая. СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Глава десятая. «ДОМ ФРАНЦА»
Глава одиннадцатая. РАЗГОВОР ПОД ДОЖДЕМ
Глава двенадцатая. ТЯЖКАЯ НОША
Глава тринадцатая. ТЕТРАДЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Глава четырнадцатая. ТАЙНА
Глава пятнадцатая. ТАЙНА. (Продолжение)
Глава шестнадцатая. ТАЙНА. (Окончание)
ЭПИЛОГ

Аннотация

«Большой Мольн» (1913) — шедевр французской литературы. Верность себе, благородство помыслов и порывов юности, романтическое восприятие бытия были и останутся, без сомнения, спутниками расцветающей жизни. А без умения жертвовать собой во имя исповедуемых тобой идеалов невозможна и подлинная нежность — основа основ взаимоотношений между людьми. Такие принципы не могут не иметь налета сентиментальности, но разве без нее возможна не только в литературе, но и в жизни несчастная любовь, вынужденная разлука с возлюбленным.

Ален-Фурнье
Большой Мольн

Моей сестре Изабелле

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая
НОВИЧОК

Он появился в нашем доме в один из воскресных дней ноября 189… года.

Я по-прежнему говорю в «нашем доме», хотя Дом уже давно перестал быть нашим. Вот уже почти пятнадцать лет, как мы уехали из тех мест и, наверное, никогда больше туда не вернемся.

Мы жили на территории школы в маленьком городе Сент-Агат. Мой отец, которого я, как и все другие ученики, называл «господин Сэрель», преподавал и в старших классах, где воспитанников готовили к экзаменам на звание учителя, и одновременно в средних. Моя мать занималась с младшими классами.

Длинное красное строение на окраине городка, с пятью застекленными дверьми, все заросшее диким виноградом; огромный двор с площадкой для игр и с прачечной; большие ворота, за которыми начинается улица; с северной стороны решетчатая калитка выходит на дорогу в Ла-Гар, что в трех километрах от Сент-Агата; на юге, позади дома, — пригороды, переходящие в поля,

сады и луга… Таковы, в общих чертах, приметы дома, где я прожил самые тревожные и самые мне дорогие дни своей жизни, — дома, откуда брали свое начало и куда возвращались все наши приключения, разбиваясь, как волны об одинокую скалу.

Нашу семью привела сюда простая случайность: то ли поиски работы, то ли распоряжение инспектора или префекта. В один теперь уже очень далекий день, к концу каникул, крестьянская повозка, за которой следовал наш домашний скарб, подвезла нас — мою мать и меня — к ржавой решетчатой калитке. Мальчишки, воровавшие в саду персики, бесшумно юркнули в щели изгороди… Моя мать, которую мы с отцом называли Милли, самая педантичная хозяйка на свете, тотчас прошла в комнаты, заваленные пыльной соломой, и, как это бывало с ней при каждом переезде на новое место, сразу с отчаянием заявила, что просто немыслимо разместить мебель в таком ужасном доме… Она вышла ко мне, чтобы поделиться своим огорчением. Разговаривая со мной, она ласково вытирала носовым платком мое лицо, почерневшее от дорожной пыли. Потом вернулась в дом и стала подсчитывать, сколько дыр нужно заделать, чтобы квартира

стала пригодной для жилья… А я остался в этом чужом дворе один, в своей большой соломенной шляпе с лентами, и, ожидая Милли, копошился в песке, под навесом возле колодца.

Во всяком случае, именно так представляется мне теперь наш приезд в Сент-Агат. И едва только пытаюсь я вызвать в памяти этот далекий первый вечер в школьном дворе и это первое ожидание, как передо мной встают другие вечера, тоже наполненные ожиданием; уже я вижу себя возле больших ворот, вижу, как, схватившись обеими руками за решетку, я пристально смотрю на улицу и жду, тревожно жду кого-то. А если я стараюсь представить себе первую ночь, проведенную на новом месте, в моей мансарде, рядом с чердаками на втором этаже, сразу вспоминаются мне другие ночи; я уже не один в этой комнате: по стенам движется большая беспокойная тень моего друга. Школа, поле папаши Мартена с тремя ореховыми деревьями, сад, каждый день, начиная с четырех часов, заполнявшийся женщинами, которые приходили в гости к маме, — этот мирный пейзаж навсегда вошел в мою память каким-то встревоженным, неузнаваемо преображенным благодаря присутствию человека, который взбаламутил все наше отрочество и даже бегством

своим не принес нам успокоения.

Однако мы прожили в этих краях уже десять лет, когда появился Мольн.

Мне было пятнадцать лет. Было холодное ноябрьское воскресенье, первый в ту осень день, напомнивший о зиме. Весь день Милли прождала экипаж из Ла-Гара, с которым ей должны были привезти зимнюю шляпу. Утром она пропустила мессу; сидя вместе с другими детьми на хорах, я до самой проповеди тоскливо поглядывал на двери, надеясь, что она вот-вот войдет в своей новой шляпе.

К вечерне мне тоже пришлось идти одному.

— Впрочем, все равно, — сказала она, желая меня утешить и счищая рукой пылинки с моего костюма, — даже если бы ее и доставили, эту шляпу, мне бы, наверно, пришлось все воскресенье ее переделывать.

Нередко так и проходили наши зимние воскресенья. Отец с утра отправлялся на какой-нибудь дальний, окутанный туманом пруд ловить с лодки щук, а мать до самой ночи сидела в полутемной комнате за починкой своих немудреных нарядов. Она запиралась на ключ из боязни, что какая-нибудь знакомая дама, — такая же бедная и такая же гордая, как и она, — застигнет ее за

этим занятием. А я, придя от вечерни, сидел в нетопленой столовой, читал и ждал, пока она отопрет дверь, чтобы показать мне, как ей идет эта обнова.

В то воскресенье я немного задержался после вечерни на улице. Возле церкви было оживленно, у входа собрались мальчишки поглазеть на крещение. На площади несколько горожан, облаченных в пожарные куртки, составили ружья в козлы и, зябко постукивая ногами, слушали разглагольствования Бужардона, своего бригадира…

Вдруг колокольный звон оборвался, словно звонарь понял, что ошибся и звонит в неурочный час; Бужардон со своими людьми, разобрав оружие, мелкой рысью потащил пожарный насос; я видел, как они скрылись за поворотом, а за ними молча бежали четверо мальчишек, с хрустом ломая своими толстыми подошвами ветки и сучья на заиндевевшей дороге: я решился пуститься вслед.

Жизнь в городке замерла, только из кафе Даниэля глухо доносились, то разгораясь, то затихая, споры любителей выпивки. Прикасаясь на ходу к низкой ограде нашего двора, я добрался до калитки, немного встревоженный своим опозданием.

Калитка была приоткрыта, и я сразу увидел:

происходит что-то необычное.

У двери в столовую из пяти застекленных дверей, выходивших во двор, она была ближе всех к калитке — стояла седая женщина и, наклонившись к стеклу, пыталась что-то разглядеть сквозь занавески. Она была маленького роста, в старомодном капоре черного бархата. Ее худое лицо с тонкими чертами выражало крайнее беспокойство, и какое-то тревожное предчувствие при виде ее заставило меня остановиться на первой ступеньке, у самой калитки.

— Куда он мог деваться, боже мой! — проговорила она вполголоса. — Ведь только что был здесь. Наверно, уже весь дом успел обойти. Может быть, убежал…

Каждую фразу она сопровождала еле слышным троекратным постукиванием по стеклу.

Никто не отзывался на стук незнакомки. Милли наверняка получила уже шляпу из Ла-Гара; значит, она сидела сейчас в своей комнате, перед кроватью, усеянной старыми лентами и потертыми перьями, и, забыв обо всем на свете, шила, перешивала, переделывала свой скромный головной убор… И правда, когда посетительница проскользнула вслед за мною в столовую, мама появилась на пороге в новой шляпе, двумя рука-

ми придерживая еще не до конца укрепленные ленты, перья и латунные нити… Она улыбнулась мне своими синими глазами, уставшими от работы в сумерках, и воскликнула:

— Взгляни-ка! Я ждала тебя, чтобы показать…

Но, заметив незнакомку, усевшуюся в большое кресло посреди комнаты, она в смущении остановилась, не докончив фразы. Быстрым движением она сняла шляпу и в продолжение всего последующего разговора прижимала ее к груди правой рукой, как большое гнездо.

Женщина в капоре, зажав коленями зонтик и кожаную сумочку, стала объяснять цель своего визита и при этом слегка покачивала головой и прищелкивала языком. Она уж снова держалась с апломбом, а начав говорить о своем сыне, сразу приняла горделивый и таинственный вид, нас обоих очень заинтриговавший.

Они приехали в почтовой карете из Ла-Ферте-д'Анжийон, что в четырнадцати километрах от Сент-Агата. Вдова — и, как она дала нам понять, весьма богатая — она потеряла младшего из двух своих сыновей, Антуана, который внезапно умер, вернувшись однажды вечером из школы, — умер от того, что искупался вместе с братом в зараженном пруду. Она решила поместить старшего,

Огюстена, к нам, на пансион, чтобы он прошел здесь курс старших классов.

И она сейчас же принялась расточать похвалы этому новому ученику, которого к нам привезла. Ее словно подменили; я просто не узнавал седую женщину, ту, что минутой раньше стояла, сгорбившись, перед дверьми и всем своим умоляющим и растерянным видом напоминала курицу, потерявшую дикого птенца, которого она вывела вместе с собственными цыплятами.

Она с восторгом рассказывала о своем сыне удивительные вещи. По ее словам, он любил делать ей приятное и мог прошагать босиком по берегу реки целые километры — только для того, чтобы разыскать для нее среди зарослей терновника яйца водяных курочек или диких уток… Он ставил и верши… И один раз ночью нашел в лесу фазана, попавшего в силки…

А я-то, однажды порвав нечаянно куртку, едва решился вернуться домой… Я с удивлением взглянул на Милли.

Но моя мама больше не слушала, она даже сделала даме знак, чтобы та замолчала; осторожно положив на стол свое «гнездо», мама тихонько поднялась, словно желая застигнуть кого-то врасплох…

Действительно, над нами, в чулане, где были свалены почерневшие остатки фейерверка от прошлогоднего праздника Четырнадцатого июля, ходил взад и вперед кто-то чужой, сотрясая потолок уверенными шагами; потом шаги переместились в сторону больших темных чердаков второго этажа и наконец затерялись где-то возле пустующих комнат надзирателей, где теперь сушился липовый цвет и дозревали яблоки.

— Я уже слышала этот шум несколько минут тому назад; кто-то ходил по нижним комнатам, — тихо проговорила Милли, — но я подумала, что это ты, Франсуа, вернулся…

Никто не ответил ей. Мы все трое застыли с бьющимся сердцем; и вот отворилась дверь, ведущая с чердака на кухонную лестницу; кто-то прошагал по ступенькам, прошел через кухню — и возник в полумраке на пороге столовой.

— Это ты, Огюстен? — спросила дама.

Перед нами был высокий мальчик лет семнадцати. В сумерках я видел сперва только его крестьянскую войлочную шляпу, сдвинутую на затылок, и черную блузу, стянутую ремнем на ученический манер. Я смог разглядеть, что он улыбается…

Он заметил меня и, прежде чем кто-либо успел

потребовать от него объяснений, сказал:

— Пошли во двор!

Какую-то секунду я колебался. Потом, видя, что Милли меня не удерживает, взял фуражку и шагнул к нему. Мы вышли через кухонную дверь и двинулись к площадке, уже погружавшейся в темноту. В неверном вечернем свете я видел его костистое лицо, прямой нос, пушок на верхней губе.

— Посмотри, что я нашел у вас на чердаке, — сказал он. — Ты, должно быть, редко туда заглядываешь.

Он держал в руке маленькое потемневшее деревянное колесо, обвитое фитильным шнуром, — наверно, то было «солнце» или «луна» для праздничного фейерверка.

— Я нашел там еще две такие же штуки, они совсем целые, мы их сейчас с тобою зажжем, — сказал он невозмутимым тоном с видом человека, который уверен в успехе задуманного.

Он сбросил свою шляпу на землю, и я увидел, что он острижен наголо, как крестьянин. Он показал мне две ракеты с бумажными фитилями, видимо, не успевшими догореть до конца. Воткнув в песок ступицу колеса, он вытащил из кармана коробку спичек — к моему величай-

шему изумлению, так как нам категорически запрещалось иметь при себе спички. Присев, он осторожно поднес спичку к фитилю. Потом быстро оттащил меня за руку.

Минуту спустя, когда моя мать, закончив с матерью Мольна переговоры о плате за пансион, вышла вместе с ней из дома во двор, над площадкой, шипя, как кузнечные мехи, взвились два снопа красных и белых звезд. И какую-то долю секунды она, наверно, могла видеть, как я стою в волшебном сиянии рядом с высокой фигурой новичка, держа его за руку....

Но она и на этот раз ничего не сказала.

А вечером, во время ужина, за нашим семейным столом сидел молчаливый юноша; он ел, опустив голову и не замечая, что мы все трое с любопытством глядим на него.

Глава вторая
ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ПОПОЛУДНИ

До того времени мне почти что не приходилось бегать по улицам вместе с городскими мальчишками. Вплоть до этого самого, 189… года меня мучили боли в бедре, и я чувствовал себя несчастным и робким. До сих пор помню, как, жалко прыгая на одной ноге, я пытался догнать быстроногих школьников, которые носились по переулкам, окружавшим наш двор.

К тому же мне не разрешалось уходить из дому. И я вспоминаю, как Милли, обычно гордившаяся моим послушанием, не раз крепкими подзатыльниками загоняла меня домой, увидев, что я ковыляю и подпрыгиваю, увязавшись за ватагой шалопаев.

Прибытие Огюстена Мольна, совпавшее с моим выздоровлением, явилось для меня началом новой жизни.

Прежде, до его приезда, конец уроков в четыре часа пополудни означал для меня наступление долгого одинокого вечера. Отец переносил огонь из классной печки в камин нашей столовой; из

выстывшей школы, где перекатывались клубы дыма, уходили последние запоздалые ученики. Еще некоторое время во дворе продолжались беготня, игры; потом спускались сумерки; двое дежурных, закончив уборку класса, забирали из-под навеса свои пальто и капюшоны и, подхватив сумки, быстро уходили, оставляя за собой открытыми большие ворота.

Тогда я шел в комнаты мэрии, забирался в архив, где было полно дохлых мух и хлопающих на ветру объявлений, и, пока не угасали отблески дневного света, читал, усевшись в старую качалку возле выходившего в сад окна.

Когда становилось совсем темно, когда на соседней ферме начинали завывать собаки, а в окне нашей кухоньки загорался свет, я шел наконец домой. Мать принималась готовить ужин. Я поднимался по чердачной лестнице, молча садился на третью ступеньку и, прислонившись лбом к холодным прутьям, смотрел, как она разводит огонь в тесной кухне, озаренной мерцанием одинокой свечи…

Но вот появился человек, оторвавший меня от этих мирных радостей детства, человек, задувший свечу, которая освещала для меня ласковое материнское лицо, склонившееся над вечерней

трапезой, человек, погасивший лампу, под которой поздними вечерами, когда отец наглухо закрывал деревянными ставнями стеклянные двери, собиралась наша счастливая семья. И этим человеком оказался Огюстен Мольн — Большой Мольн, как его сразу прозвали у нас в школе.

С его приездом, с первых дней декабря, школа преобразилась: теперь никто не торопился уходить домой после четырех часов пополудни. Несмотря на холод, врывавшийся в открытые двери, и на крики дежурных, таскавших ведра с водой для мытья полов, десятка два учеников, живших в городке и в окрестных деревнях, оставались в классе, сгрудившись вокруг Мольна. И начинались долгие споры, бесконечные разговоры, в которых понемногу — со смешанным чувством тревоги и удовольствия — начинал участвовать и я.

Мольн обычно молчал, но только ради него все болтали наперебой, и то один, то другой из самых словоохотливых учеников, потребовав общего внимания и призвав в свидетели поочередно каждого из приятелей, шумно выражавших свое одобрение, принимался рассказывать длинную историю об очередном озорстве, которую все слушали разинув рты и втихомолку посмеиваясь.

Усевшись на парту, болтая ногами, Мольн размышлял. Иногда он смеялся вместе с другими, но совсем тихо, словно приберегая настоящий, громкий смех для какой-то лучшей истории, известной лишь ему одному. Потом, когда сумерки начинали густеть и классные окна не освещали больше кучку подростков, Мольн вдруг поднимался и, расталкивая тесно обступивший его кружок, кричал:

— Хватит! Пошли!

И все срывались с места и шли за ним, и долго еще из темноты дальних улиц до меня доносились их крики…

Теперь иногда отправлялся с ними и я. Вместе с Мольном я доходил до ворот деревенских конюшен и хлевов в тот час, когда хозяйки доят коров… Мы заглядывали в мастерские, и из глубины темной комнаты под стук станка слышался голос ткача:

— А! Студенты пришли!

Обычно к часу ужина мы оказывались недалеко от бульвара, у Дену, тележного мастера, который был также и кузнецом. Его мастерская помещалась в бывшем постоялом дворе с большими двустворчатыми дверьми, всегда открытыми настежь. Еще с улицы слышен был

скрежет кузнечных мехов, и в отблесках пылающих углей возникали из темноты то фигуры крестьян, остановивших телегу у ворот, чтобы поболтать с минутку, то школьник вроде нас, который, прислонившись к дверям, молча смотрел, как работает кузнец.

Здесь-то примерно за неделю до рождества все и началось.

Глава третья
«Я ЗАХОДИЛ В ЛАВКУ КОРЗИНЩИКА»

Дождь лил целый день и закончился только к вечеру. День был смертельно тосклив. Во время перемен никто не выходил из школы. В классе ежеминутно слышался голос моего отца, г-на Сэреля:

— Да хватит же вам галдеть, сорванцы!

После окончания последней перемены — мы называли ее последней «четвертушкой часа» — г-н Сэрель, несколько минут шагавший с задумчивым видом взад и вперед, остановился, с силой стукнул линейкой по столу, чтобы прекратить смутный гул, обычно поднимавшийся к концу занятий, когда класс скучает, и спросил в настороженной тишине:

— Кто поедет завтра вместе с Франсуа в Ла-Гар встречать господина и госпожу Шарпантье?

Это были мои дед и бабка. Дедушка Шарпантье, старый лесничий в отставке, носил серый шерстяной плащ и кроличью шапку, которую называл «своим кепи»… Младшие хорошо его знали. По утрам, умываясь, он, как старый солдат,

шумно плескался в ведре с водой, теребя свою бородку. А дети обступали его и, заложив руки за спину, с почтительным любопытством наблюдали за этой процедурой… Были они знакомы и с бабушкой Шарпантье, маленькой старушкой в вязаном крестьянском чепчике, которую Милли не раз приводила в класс малышей.

Каждый год, за несколько дней до рождества, мы отправлялись встречать их в Ла-Гар к поезду, прибывавшему в четыре часа две минуты. Чтобы повидаться с нами, они пересекали весь департамент, нагруженные мешками каштанов и завернутой в салфетки рождественской снедью. И как только оба они, укутанные, улыбающиеся и немного смущенные, переступали порог нашего дома, мы закрывали за ними все двери — и начиналась чудесная неделя радости и забав…

Чтобы доставить стариков с вокзала, вместе со мной нужно было послать еще кого-нибудь, человека положительного, который не опрокинул бы всех в канаву, и к тому же достаточно добродушного, потому что дедушка Шарпантье по любому поводу начинал браниться, а бабушка была немного болтлива.

На вопрос г-на Сэреля дружно отозвался десяток голосов:

— Большой Мольн! Большой Мольн!

Но г-н Сэрель сделал вид, что не слышит. Тогда одни начали кричать:

— Фромантен!

— Жасмен Делюш! — закричали другие.

Самый младший из братьев Руа, тот самый, что любил, взгромоздившись верхом на свинью, прокатиться бешеным галопом по окрестным полям, закричал пронзительным голосом: «Я, я!»

Дютрамбле и Мушбеф только робко подняли руки.

Мне хотелось, чтобы выбор пал на Мольна. Эта небольшая прогулка в повозке, запряженной ослом, обещала быть занимательной. Ему, конечно, тоже хотелось поехать, но, напустив на себя высокомерный вид, он молчал. Все старшие ученики уселись, как и он, на парты, положив ноги на сиденья, — это была наша обычная поза в минуты веселых передышек в занятиях. Коффен, задрав полы своей блузы и обвязавшись ими вокруг пояса, обхватил железный столб, служивший опорой для потолочной балки, и начал взбираться по нему в знак ликования. Но г-н Сэрель сразу охладил наш пыл, сказав:

— Решено! Поедет Мушбеф!

И все молча расселись по своим местам.

В четыре часа пополудни мы стояли вдвоем с Мольном посреди большого холодного двора, изрытого дождевыми потоками. Мы молча смотрели на мокрый город, уже начинавший высыхать под порывами ветра. Вот в плаще с капюшоном, с куском хлеба в руке, вышел из своего дома маленький Коффен; держась поближе к стенам и насвистывая, он добрался до дверей каретника. Мольн открыл ворота, окликнул Коффена, и через минуту мы все трое уже были внутри жаркой, озаренной красным пламенем мастерской, куда время от времени внезапно врывались ледяные струи ветра. Коффен и я, поставив ноги в грязных башмаках на белую стружку, уселись поближе к горну; Мольн, засунув руки в карманы, молча прислонился к входной двери. Порой по улице, пригибая под сильным ветром голову, проходила, возвращаясь из лавки мясника, какая-нибудь жительница поселка, и мы оборачивались, чтобы посмотреть, кто это.

Все молчали. Кузнец и его подручный раздували мехи и ковали железо; по стене прыгали огромные, резко очерченные тени…

Это был один из самых памятных вечеров моего отрочества. Я сидел со смешанным чувством удовольствия и тревоги: я опасался, что мой това-

рищ лишит меня скромной радости — поездки в Ла-Гар, и в то же время я ждал от него, не смея себе в этом признаться, какого-то необыкновенного поступка, который должен все перевернуть.

Временами спокойная и размеренная работа в кузнице на миг прерывалась. Кузнец несколькими короткими и звучными ударами опускал молот на наковальню. Он разглядывал кусок железа, почти прижимая его к своему кожаному фартуку. Потом распрямлялся и говорил нам, чтобы хоть немного передохнуть:

— Ну, как жизнь, молодежь?

Его помощник, не снимая руки с цепного привода мехов, подпирал бок левым кулаком и смотрел на нас, посмеиваясь.

И снова кузницу заполнял глухой шум работы.

Во время одной из таких передышек мимо приоткрытой двери прошла, борясь с ветром, закутанная в шаль Милли, вся нагруженная небольшими пакетами.

Кузнец спросил:

— Значит, скоро приедет господин Шарпантье?

— Завтра, — ответил я. — И бабушка тоже. Я поеду за ними в повозке к четырехчасовому поезду.

— Уж не в повозке ли Фромантена?

Я быстро ответил:

— Нет, тогда нам домой не вернуться!

И оба они, кузнец и подручный, захохотали. Потом подручный лениво заметил — просто чтобы что-нибудь сказать:

— На кобыле Фромантена можно было бы поехать за ними во Вьерзон. За час были бы там. Туда километров пятнадцать. И вернулись бы домой раньше, чем Мартен успел бы запрячь своего осла.

— Да, — сказал кузнец, — у Фромантена кобыла что надо!..

— К тому же он с удовольствием вам ее одолжит. На этом разговор закончился. Снова мастерская наполнилась искрами и шумом, и каждый молча думал о своем.

А когда настало время уходить и я, поднявшись, сделал знак Большому Мольну, он не сразу это заметил. Прислонившись к дверям, опустив голову, он, казалось, размышлял над словами кузнеца. Он стоял, погрузившись в раздумье, глядя словно сквозь туман на мирно работающих кузнецов, и мне вдруг вспомнилось то место из «Робинзона Крузо», где молодой англичанин незадолго до своего отъезда из дома «заходит в лавку корзин-

щика»… С тех пор этот образ не раз приходил мне на память.

Глава четвертая
ПОБЕГ

На другой день, к двум часам, освещенный солнцем класс среди ледяных полей становится похожим на корабль посреди океана. Правда, здесь пахнет не рассолом и не машинным маслом, как на рыболовном судне, а селедкой, поджаренной на печке, да паленой шерстью от тех, кто, вернувшись с улицы, сел слишком близко к огню.

Год подходит к концу, и нам раздают тетради для сочинений. Пока г-н Сэрель пишет на доске темы, в классе устанавливается относительная тишина, прерываемая разговорами вполголоса, приглушенными выкриками и фразами, которые начинают лишь для того, чтобы испугать соседа:

— Господин учитель! Такой-то меня…

Господин Сэрель, записывая темы, думает о чем-то своем. Время от времени он оборачивается лицом к классу и смотрит на нас строгим и одновременно отсутствующим взглядом. Тогда на секунду вся эта скрытая возня полностью прекращается, чтобы тут же возобновиться — сначала

тихо-тихо, как жужжанье.

Я один молчу среди всеобщего возбуждения. Я сижу в том углу класса, где разместились ученики помоложе, сижу на краю парты возле окна, и мне достаточно только чуть выпрямиться, чтобы увидеть сад, ручей внизу и за ним — поля.

Иногда я приподнимаюсь на цыпочки и тоскливо гляжу в сторону фермы Бель-Этуаль. Я с самого начала урока заметил, что после большой перемены Мольн не вернулся в школу. Его сосед по парте, должно быть, тоже это заметил. Весь поглощенный своим сочинением, он пока еще ничего никому не сказал. Но как только он поднимет голову, новость сразу обежит весь класс, и уж кто-нибудь, по обыкновению, непременно выкрикнет во весь голос первые слова фразы:

— Господин учитель! А Мольн…

Я знал, что Мольн уехал. Точнее, я подозревал, что он удрал. Должно быть, сразу после завтрака он перескочил через забор и, перейдя у Вьей-Планша ручей, помчался напрямик через поле к Бель-Этуаль. Он попросил дать ему кобылу, чтобы поехать встретить господина и госпожу Шарпантье. Как раз теперь, наверно, там запрягают.

Бель-Этуаль — это большая ферма, расположенная за ручьем на склоне холма; летом ее не видно

за вязами и дубами, за зеленью живой изгороди. Ферма стоит на проселочной дороге, соединяющей шоссе на Ла-Гар с окраиной Сент-Агата. Большое здание феодальных времен со всех сторон обнесено высокой стеной с каменными подпорками, основания которых утопают в навозе; в июне дом полностью скрывается в листве, и только с наступлением вечера до школы доносится громыханье телег и крики пастухов. Но сегодня я вижу из окна высокую серую стену скотного двора между голыми деревьями, входную дверь, а дальше, сквозь обломки изгороди, параллельно ручью, полоску побелевшей от изморози дороги, которая ведет к дороге на Ла-Гар.

Ничто еще не шевелится на фоне этого ясного зимнего пейзажа. Пока еще ничего не произошло.

Здесь, в классе, г-н Сэрель заканчивает запись второй темы. Обычно он дает нам три. Если сегодня, как назло, он даст всего две… Тогда он сразу поднимется на кафедру и обнаружит отсутствие Мольна. Он прикажет двоим мальчишкам пойти искать его по всему городу, и, уж конечно, они разыщут его раньше, чем кобыла будет запряжена…

Записав вторую тему, г-н Сэрель на минуту

опускает уставшую руку. Потом, к моему великому облегчению, снова подносит ее к доске и продолжает писать, приговаривая:

— Ну, а дальше — совсем легко, просто забава!

…Две черные черточки, которые поднялись над стеной фермы Бель-Этуаль и через минуту снова исчезли, — это, должно быть, оглобли повозки. Теперь я уже окончательно убежден, что там снаряжают Мольна в дорогу. Вот между столбами ворот показались голова и грудь лошади, вот она останавливается, и я догадываюсь: это в повозке укрепляют второе сиденье для пассажиров, за которыми вроде бы отправляется Мольн. Наконец повозка медленно выезжает со двора, исчезает на миг за плетнем и так же медленно катится по отрезку белой дороги, который виднеется сквозь просвет в ограде. И тогда в черной фигуре, которая держит вожжи, небрежно, на крестьянский манер, облокотившись о край повозки, я узнаю своего товарища, Огюстена Мольна.

Еще через минуту все исчезает за изгородью. Двое людей, стоявших у ворот фермы Бель-Этуаль и смотревших, как отъезжает повозка, теперь о чем-то возбужденно спорят. Вот один из них подносит ко рту сложенные рупором ладони и что-то кричит Мольну, потом пробегает несколько ша-

гов по дороге вслед за повозкой. Тем временем Мольн, все так же неторопливо, выезжает на дорогу, ведущую к Ла-Гару; теперь поворот скрывает его от тех, кто стоит возле фермы. И тут поведение Мольна внезапно меняется. Он становится одной ногой на передок, выпрямляется во весь рост, словно римский воин на колеснице, и, схватив вожжи обеими руками, пускает лошадь бешеным галопом; через мгновение он исчезает по ту сторону холма. Окликавший Мольна человек снова бежит по дороге; его собеседник устремляется через поле как будто в нашу сторону.

Через несколько минут, в тот самый миг, когда г-н Сэрель, отойдя от доски, стряхивает мел с ладоней, и в тот самый миг, когда сразу три голоса кричат из глубины класса: «Господин учитель! Большой Мольн удрал!» — настежь распахивается дверь, и человек в синей блузе, снимая шляпу, спрашивает с порога:

— Извините, сударь, это вы послали ученика за повозкой, чтобы ехать во Вьерзон встречать ваших родителей? Он вызвал у нас подозрения…

— Да нет, я никого не посылал! — отвечает г-н Сэрель. В классе поднимается гам. Трое учеников, которые сидят ближе всех к двери и которым обычно поручается выгонять камнями коз и

свиней, топчущих клумбы на школьном дворе, бросаются к выходу. Их подкованные железом сабо неистово грохочут по каменным плитам первого этажа, потом со двора доносится приглушенный шум шагов — три пары башмаков торопливо мнут песок и, разбежавшись, скользят, как по льду, на повороте, вылетая через раскрытую калитку на дорогу. Весь класс сгрудился у окон, выходящих в сад. Некоторые, чтобы лучше видеть, взобрались на парты.

Но слишком поздно. Большой Мольн бежал.

— Все равно ты поедешь с Мушбефом в Ла-Гар, — говорит мне г-н Сэрель. — Мольн не знает дороги на Вьерзон. Он запутается в перекрестках. Ему не поспеть к поезду к трем часам.

Из дверей младшего класса высовывается Милли и спрашивает:

— Скажите же, что случилось?

На улице начинают собираться кучками горожане. Крестьянин все еще стоит на пороге — неподвижно, упрямо, со шляпой в руке, — как человек, требующий правосудия.

Глава пятая
ПОВОЗКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Когда я привез дедушку и бабушку из Ла-Гара и когда после ужина, усевшись перед камином, они принялись с величайшей обстоятельностью рассказывать нам о своем житье-бытье за то время, что мы не виделись с ними, я скоро заметил, что не слушаю их.

Дворовая калитка была совсем рядом с дверьми столовой. Открываясь, она скрипела. Обычно с наступлением темноты, когда мы сумерничали в столовой, я втайне с нетерпением ждал этого скрипа — за ним следовал шум сабо, кто-то шел по двору, потом вытирал у порога ноги, иногда слышался шепот, словно люди тихонько совещались, прежде чем войти. В двери стучали. То был сосед, или одна из учительниц, или еще кто-нибудь, заходивший посидеть с нами в долгие зимние вечера…

Но ведь в этот вечер мне некого было ждать: все, кого я любил, собрались в доме; и все-таки я чутко ловил каждый ночной звук, ожидая, что вот-вот отворится дверь.

Рядом сидел мой старый дед, лохматый, обросший, похожий на гасконского пастуха; неуклюже выставив ноги, зажав коленями палку, он порой наклонялся в сторону, чтобы выбить о башмак свою трубку. Его добрые слезящиеся глаза словно подтверждали рассказ бабушки о том, как они доехали и как поживают куры, и что поделывают соседи, и почему крестьяне до сих пор не внесли арендной платы. Но мои мысли были далеко.

Я представлял себе, как повозка вдруг останавливается перед нашими дверьми, Мольн соскакивает на землю и входит в дом, словно ничего не случилось… Или, может быть, он сначала отведет кобылу на ферму Бель-Этуаль, и сейчас я услышу его шаги на улице, услышу, как отворяется калитка…

Но кругом была тишина. Дедушка пристально смотрел перед собою, и, когда он моргал, веки его долго не поднимались, будто его клонило ко сну. Бабушка, видя, что ее не слушают, в замешательстве несколько раз повторила последнюю фразу.

— Вы беспокоитесь за этого мальчика? — спросила она наконец.

На вокзале я тщетно расспрашивал ее. Когда поезд стоял во Вьерзоне, бабушка не видела никого, кто был бы похож на Большого Мольна.

Наверное, мой друг задержался в дороге. Его попытка оказалась напрасной. На обратном пути с вокзала, пока бабушка беседовала с Мушбефом, я переживал свое разочарование. На белой от инея дороге, у самых копыт бежавшего рысцой осла, кружились воробьи. В глубокой тишине морозного дня порой раздавался далекий крик пастушки или голос мальчика, который перекликался с товарищем в сосновой роще. И всякий раз, услышав этот протяжный крик среди пустынных холмов, я вздрагивал, точно это голос Мольна звал меня вдаль…

За этими мыслями прошел вечер, и настало время ложиться. Дедушка уже вошел в красную гостиную, сырую и холодную, потому что она простояла запертой с прошлой зимы. Перед его приездом с кресел сняли кружевные салфетки, постелили на пол ковер и убрали из комнаты все бьющиеся предметы. Дедушка положил на стул палку, поставил под одно из кресел свои толстые башмаки; он только что задул свечу, и все мы стояли в темноте, желая друг другу спокойной ночи и готовые разойтись по своим комнатам, когда шум экипажа заставил всех замолчать.

Казалось, одна за другой медленно ехали две повозки. Кони постепенно замедлили шаг и на-

конец остановились напротив окна столовой, которое выходило на дорогу, но было наглухо заколочено.

Отец взял лампу и немедля открыл дверь, уже запертую на ключ. Потом, толкнув калитку, стал на край ступеньки и поднял лампу над головой, чтобы лучше разглядеть, что происходит.

И в самом деле, перед домом остановились две повозки; лошадь второй из них была привязана к передней повозке. На землю соскочил человек и остановился в нерешительности…

— Скажите, это мэрия? — спросил он, подходя ближе. — Вы не могли бы мне сказать, где живет господин Фромантен, арендатор из Бель-Этуаль? Я нашел его повозку возле дороги на Сен-Луде-Буа; лошадь шла без возницы. При мне есть фонарь, я прочитал на номере имя и адрес. Мне было по пути, и я привел сюда всю упряжку, чтобы не случилось какой беды; но все это здорово меня задержало.

Мы были изумлены. Отец подошел и осветил повозку.

— Возницы и след простыл, — продолжал человек. — Я не нашел даже попоны. Лошадь устала, она немного прихрамывает.

Я тоже подошел поближе и вместе со все-

ми смотрел на эту заблудившуюся упряжку, которая появилась перед нами, как обломок кораблекрушения, вынесенный на берег морским приливом, — первый и, быть может, последний обломок приключения Мольна.

— Если Фромантен живет далеко, — сказал человек, — я бы оставил его повозку у вас. Я уж и так потерял много времени, и обо мне, наверно, беспокоятся дома.

Отец согласился. Это позволяло нам сейчас же отвести упряжку в Бель-Этуаль, ничего не рассказывая о случившемся. А что говорить людям и что написать матери Мольна, можно будет решить потом… Человек хлестнул свою лошадь; он даже отказался от предложенного ему стакана вина.

Отец поехал с повозкой на ферму, мы молча вернулись в дом, а дедушка в своей комнате снова зажег свечу и окликнул нас:

— Ну что, вернулся ваш путешественник?

Женщины переглянулись.

— Да, конечно. Он был у своей матери. Спи спокойно.

— Ну, вот и хорошо! Я так и думал, — сказал дедушка. И, удовлетворившись ответом, погасил свечу и повернулся на другой бок.

Такое же объяснение мы дали соседям. Что

касается матери беглеца, мы решили пока ни о чем ей не писать. Три бесконечно долгих дня ни с кем не делились мы своей тревогой. Я и теперь ясно вижу перед собой лицо моего отца, когда он часов около одиннадцати вернулся с фермы, вижу его заиндевевшие усы, слышу его голос, встревоженный и сердитый, — он тихо спорит о чем-то с Милли…

Глава шестая
КТО-ТО СТУЧИТСЯ В ОКНО

Четвертый день был одним из самых холодных в ту зиму. С утра ученики, пришедшие первыми во двор, катались по льду вокруг колодца, пытаясь согреться. Они ждали, когда растопится в школе печка, чтобы кинуться поближе к теплу.

Многие из нас стояли за воротами, поджидая деревенских ребят. Они приходили, еще ослепленные зимним пейзажем, — инеем, замерзшими прудами, перелесками, среди которых скакали зайцы… Их блузы сохраняли запах сена, конюшни, и воздух в классе становился тяжелым и душным, когда они теснились вокруг раскаленной докрасна печки… В то утро один из них принес в корзинке замерзшую белку, которую нашел на дороге. И я помню, как он старался подвесить ее длинное окоченевшее тельце за когти к столбу на площадке для игр.

Потом начался томительный зимний урок.

Вдруг сильный удар по стеклу заставил нас поднять головы. У дверей, стряхивая иней с блузы, высоко вскинув голову, словно ослепленный

каким-то видением, стоял Большой Мольн!

Двое учеников с самой близкой к дверям парты сорвались с мест, чтобы ему открыть; они пошептались о чем-то с Мольном у порога, после чего беглец решился наконец войти в школу.

Волна свежего воздуха, ворвавшаяся с пустынного двора, солома, приставшая к одежде Большого Мольна, и особенно его вид — вид усталого, голодного, но чем-то очарованного путешественника, — все это вызвало в нас странное ощущение радости и любопытства.

Господин Сэрель, что-то нам диктовавший, сошел по двум ступенькам вниз со своей маленькой кафедры, и Мольн шагнул к нему с вызывающим видом. Я вспоминаю, каким красивым показался мне в эту минуту мой старший товарищ, красивым, несмотря на измученное лицо и глаза, покрасневшие, верно, от бессонных ночей под открытым небом.

Он подошел к самой кафедре и сказал твердым голосом, как человек, явившийся с докладом:

— Я вернулся, сударь.

— Вижу, вижу, — ответил г-н Сэрель, с любопытством разглядывая его. — Ступайте на свое место.

Мольн повернулся к нам, чуть сутулясь и улыба-

ясь с тем насмешливым видом, какой напускают на себя взрослые ученики, когда их наказывают за плохое поведение; взявшись рукой за край парты, он проскользнул на свою скамью.

— Сейчас вы возьмете книгу, которую я вам укажу, — сказал учитель, видя, что все головы повернуты к Мольну. — А ваши товарищи закончат писать диктант.

И класс снова принялся за работу. Время от времени Большой Мольн поворачивался ко мне; потом он смотрел в окна на белый, словно осыпанный ватой, неподвижный сад и на пустынное поле, куда порой садился одинокий ворон. В классе было душно, от раскаленной печки шел жар. Мой товарищ, облокотившись о парту, обхватив руками голову, пытался читать; я раза два видел, как слипаются у него веки, и подумал, что он сейчас заснет.

— Я хотел бы прилечь, господин учитель, — сказал он наконец, неуверенно поднимая руку, — вот уже три ночи, как я не спал.

— Идите, — ответил г-н Сэрель, больше всего желая избежать скандала.

Все головы поднялись над партами, все перья застыли в воздухе; с сожалением смотрели мы, как он уходит, — в измятой на спине блузе, в

залепленных грязью башмаках.

Как томительно долго тянулось утро! Перед полуднем мы услышали наверху, в мансарде, шаги путешественника, который собирался сойти вниз. Во время завтрака он сидел перед камином, возле озадаченных стариков, а в заснеженном дворе, скользя словно тени, перед дверьми столовой, после того как часы пробили двенадцать раз, бегали вперемежку старшеклассники и малыши.

От этого завтрака в моей памяти осталась только огромная тишина и чувство огромной неловкости. Все было холодным как лед: не покрытая скатертью клеенка, вино в стаканах, красноватый кафель пола, холод которого мы чувствовали под ногами… Было решено ни о чем не расспрашивать беглеца, чтобы не давать ему повода взбунтоваться. А он воспользовался этим перемирием и не произносил ни слова.

Наконец, закончив десерт, мы оба смогли выскочить во двор. Школьный двор после полудня, когда снег изрыт десятками сабо… Двор, почерневший от оттепели, когда с навеса бежит капель… Двор, полный возни и пронзительных криков… Мы с Мольном побежали вдоль дома. Уже двое-трое наших приятелей бросили

игру и, радостно крича, кинулись к нам, сунув руки в карманы, в развевающихся шарфах, разбрызгивая под ногами грязь. Но мой товарищ устремился в старший класс, я поспешил за ним, и он запер стеклянную дверь как раз в тот миг, когда на нее обрушились наши преследователи. Послышалось резкое дребезжанье сотрясаемых стекол, стук башмаков о порог; от сильного толчка погнулся железный засов, сдерживавший дверные створки, но Мольн, рискуя поранить пальцы о сломанный ключ, уже успел повернуть его в замке.

Обычно такое поведение считалось у нас оскорбительным. Если дело происходило летом, нередко те, кто оставался за дверью, стремглав мчались в сад и влезали в класс через окно раньше, чем спрятавшиеся там успевали его захлопнуть. Но сейчас стоял декабрь, и все окна были заколочены. Еще с минуту мальчишки напирали на дверь, осыпая нас бранью, потом один за другим, опустив головы и поправляя шарфы, начали отходить прочь.

В пустом классе пахло каштанами и кислым вином, двое дежурных переставляли столы. Я подошел к печке и стал греться, ожидая начала урока, а Огюстен Мольн шарил на кафедре и в

партах. Скоро он нашел маленький географический атлас и, стоя на помосте, опустив локти на кафедру, зажав голову в ладонях, принялся с увлечением его изучать.

Я уже собирался было подойти к нему; я положил бы руку ему на плечо, и мы вдвоем стали бы вычерчивать по карте его таинственный маршрут, — но вдруг дверь соседнего младшего класса распахнулась от сильного толчка, и в нашу комнату с победным криком влетел Жасмен Делюш, с ним еще один парень из города и трое деревенских. Значит, одно из окон класса для младших оказалось плохо забитым, и им удалось его открыть.

Жасмен Делюш не отличался большим ростом, но был одним из самых взрослых учеников старшего класса. Он очень завидовал Большому Мольну, хотя и прикидывался его другом. До поступления Мольна в школу признанным вожаком в классе считался он, Жасмен. У него было бледное, мало выразительное лицо и напомаженные волосы. Единственный сын вдовы Делюш, содержательницы постоялого двора, он корчил из себя мужчину: с хвастливым видом повторял он все, что слышал от игроков в бильярд и любителей вермута.

При его появлении Мольн поднял голову и, нахмурив брови, крикнул мальчишкам, которые, толкая друг друга, бросились к печке:

— Неужто нельзя хоть на минуту оставить человека в покое?

— Если тебе здесь не нравится, что же ты не остался там, где был? — ответил, не поднимая головы, Жасмен Делюш, чувствуя за собой поддержку товарищей.

Вероятно, Огюстен был в том состоянии крайней усталости, когда гнев охватывает человека внезапно и уже невозможно взять себя в руки. Мольн слегка побледнел.

— Ты! — сказал он, выпрямляясь и закрывая атлас. — Пошел прочь отсюда!

Тот крикнул со злой усмешкой:

— Вот как? Если ты три дня был в бегах, значит ты уж и господином учителем стал?

И, пытаясь вовлечь в ссору остальных, добавил:

— Во всяком случае, не тебе приказывать нам убираться отсюда!

Но Мольн уже бросился на него. Началась потасовка, затрещали по швам рукава рубах. Из всех учеников, вошедших вместе с Жасменом, в ссору вмешался только один деревенский па-

рень, Мартен.

— А ну-ка, оставь его! — сказал он, раздувая ноздри и тряся головой, как баран.

Отброшенный резким толчком Мольна, Мартен отлетел на середину класса, пошатываясь, раскинув в стороны руки, а Мольн, схватив Делюша одной рукой за ворот, другой же, открыв дверь, попытался вытолкнуть его вон. Жасмен цеплялся за столы и волочил ноги по полу, скрежеща по плитам своими подкованными башмаками; тем временем Мартен, восстановив равновесие, нагнув голову вперед, яростно кинулся на Мольна. Тот отпустил Делюша, чтобы схлестнуться с этим болваном, и, может быть, Огюстену пришлось бы худо, если бы в этот миг не приоткрылась дверь. Появился г-н Сэрель; прежде чем шагнуть в класс, он обернулся в сторону кухни, заканчивая какой-то разговор… Тотчас же битва прекратилась. Ученики сгрудились у печки, опустив головы, так до конца и не приняв ничью сторону в драке. Мольн сел на свое место; его блуза была распорота и изодрана в плечах. У Жасмена побагровело лицо; в течение тех секунд, которые предшествовали стуку линейки, возвещающему начало урока, он кричал:

— Теперь уж ему и слова не скажи! Тоже мне

умник нашелся! Может, он воображает, что никому не известно, где он был!

— Дурак! Мне это и самому неизвестно, — ответил Мольн уже в полной тишине.

Потом, пожав плечами и подперев ладонями голову, он погрузился в чтение.

Глава седьмая
ШЕЛКОВЫЙ ЖИЛЕТ

Я уже говорил, что нашей комнатой была большая мансарда, наполовину мансарда, наполовину комната. В других помещениях, примыкавших к ней, имелись окна, а здесь, неизвестно почему, было лишь небольшое слуховое окошко. Осевшая дверь терлась о пол, и ее невозможно было как следует закрыть. По вечерам, когда мы поднимались к себе, защищая ладонью свечу, которую угрожали задуть все гулявшие в просторном доме сквозняки, мы каждый раз пытались закрыть эту дверь — и каждый раз отступали перед непосильной задачей. По ночам мы ощущали вокруг себя тишину трех чердаков — казалось, она проникает и в нашу комнату.

Здесь мы и встретились, Огюстен и я, вечером все того же зимнего дня.

Я мигом скинул с себя всю одежду и бросил ее кучей на стул у изголовья кровати, а мой товарищ, не говоря ни слова, стал раздеваться медленно и аккуратно. Я забрался в свою железную кровать с занавесками, украшенными узором из виноград-

ных листьев, и смотрел на Мольна. Он то садился на свою низенькую кровать, на которой не было никаких занавесок, то вставал и ходил взад и вперед по комнате, продолжая при этом медленно раздеваться. Свеча, которую он поставил на столик, какие плетут цыгане из ивовых прутьев, бросала на стену огромную колеблющуюся тень.

В отличие от меня, он с рассеянным и удрученным видом, но вместе с тем заботливо складывал и развешивал все части своего школьного костюма. Вот он положил на стул тяжелый ремень, вот расправил на спинке стула черную длинную блузу, необычайно грязную и мятую, вот стянул с себя грубошерстную синюю куртку, которую носил под блузой, и, повернувшись ко мне спиной, наклонился, чтобы повесить ее в ногах своей кровати… Но когда он выпрямился и опять повернулся ко мне лицом, я увидел, что под курткой вместо короткого жилета с медными пуговицами, полагавшегося нам по форме, на нем надет какой-то чудной шелковый жилет с большим вырезом, застегнутый внизу плотным рядом маленьких перламутровых пуговичек.

Это была вещь причудливая и очаровательная, — такие, должно быть, носили на балах молодые люди, танцевавшие с нашими бабушка-

ми в тысяча восемьсот тридцатом году.

Я вспоминаю, как он выглядел в ту минуту: высокорослый деревенский школьник с непокрытой головой (свою фуражку он аккуратно положил на костюм), с таким смелым, юным и уже таким суровым лицом. Он снова принялся ходить из угла в угол, расстегивая таинственное одеяние, которое явно принадлежало не ему. Это было так странно: школьник без куртки, в коротких, не по росту, брюках, в грязных башмаках — и в жилете маркиза!

Прикоснувшись к жилету, он вдруг очнулся от своей задумчивости, оглянулся на меня, и в его глазах мелькнула тревога. Мне стало смешно. Он улыбнулся вместе со мной, и его лицо просветлело. Это придало мне смелости, я тихо спросил его:

— Ну, скажи же мне, что это такое? Где ты его взял? Но его улыбка тут же погасла. Он провел своей тяжелой рукой по коротко остриженным волосам и внезапно, как человек, который больше не может противиться сильному желанию, снова натянул поверх изящного жабо свою куртку, тщательно застегнул ее на все пуговицы, надел измятую блузу; на мгновение он заколебался, глядя на меня как-то сбоку… Наконец он сел на

край своей кровати, сбросил башмаки, которые с шумом упали на пол, и, как солдат в походе, одетым растянулся на постели и задул свечу.

Среди ночи я вдруг проснулся. Мольн стоял посреди комнаты в фуражке и что-то искал на вешалке. Вот он накинул на плечи плащ с пелериной… В комнате было темно, в нее не проникало даже то смутное мерцание, которое излучает иногда снег во дворе. Черный ледяной ветер свистел над крышей и в мертвом саду.

Я немного привстал и шепотом окликнул его:

— Мольн! Ты опять уходишь?

Он не ответил. Тогда, совсем рассердившись, я сказал:

— Ну что ж, я пойду с тобой. Ты должен меня взять. И я спрыгнул на пол.

Он подошел, схватил меня за руку и, силой усаживая на край кровати, сказал:

— Я не могу тебя взять, Франсуа. Если б я знал дорогу, мы бы пошли вместе. Но сначала нужно отыскать ее по карте, а мне это не удается.

— Значит, ты тоже не можешь идти?

— Да, ты прав, это бесполезно, — сказал он упавшим голосом. — Иди ложись. Обещаю никуда без тебя не уходить.

И он опять стал мерить шагами комнату. Я

больше не осмеливался с ним заговорить. Он шагал, останавливался, потом начинал ходить еще быстрее, как человек, который снова и снова перебирает в мозгу воспоминания, сталкивает их друг с другом, сравнивает, подсчитывает; ему уже кажется, что нужная нить надежно схвачена, как вдруг он снова теряет ее и опять начинает свои мучительные поиски…

Так продолжалось не одну ночь; бывало, около часа я просыпался, разбуженный шумом его шагов, и видел, как он все ходит и ходит по комнате и чердакам, словно те моряки, которые, не в силах отвыкнуть от вахтенной службы, просыпаются на своей бретонской ферме в предписанный корабельным уставом час, встают, одеваются и несут всю ночь вахту на суше.

Раза два-три на протяжении января и первой половины февраля я просыпался так среди ночи. И каждый раз Большой Мольн стоял одетый, в своей пелерине, готовый уйти, — и каждый раз уже на пороге той таинственной страны, куда однажды ему удалось проникнуть, он останавливался в нерешительности. В тот самый миг, когда оставалось только отодвинуть засов с двери, ведущей на лестницу, и проскользнуть на улицу через кухонную дверь, открывающуюся так

легко, что никто бы не услышал ни звука, в тот самый миг он снова отступал… И потом в течение долгих ночных часов лихорадочно метался по пустынным чердакам, о чем-то размышляя.

Наконец как-то ночью — это было в середине февраля — он сам разбудил меня, тихонько тронув за плечо.

Накануне у нас был хлопотный день. Мольн, который теперь совсем не участвовал в играх с прежними товарищами, всю последнюю перемену просидел за своей партой, поглощенный каким-то таинственным маленьким чертежом, по которому водил пальцем, сверяясь в атласе с картой департамента Шер. Между двором и классом непрерывно сновали мальчишки. Стучали сабо. Ученики гонялись друг за другом между партами, перескакивали через скамейки, прыгали на помост… Все хорошо знали, что, если Мольн занят, лучше к нему не подходить. Но перерыв затягивался, и двое-трое городских, увлекшись игрой, на цыпочках подкрались поближе к Мольну и заглянули через его плечо. Один из них до того осмелел, что толкнул товарищей на Мольна… Тот резко захлопнул атлас, спрятал листок и схватил одного из смельчаков; другим удалось улизнуть.

…Это оказался злюка Жирода, он стал хныкать, пытался брыкаться, и в конце концов Большой Мольн выбросил его вон из класса. Тогда он в ярости завопил:

— У, подлюга! Понятно, почему они все на тебя зубы точат, почему они собираются пойти на тебя войной…

За этим последовал поток ругательств, на которые мы с Мольном отвечали тем же, не зная толком, что означают эти угрозы. Я кричал особенно громко, потому что принял сторону Большого Мольна. Мы словно заключили между собой договор. Он пообещал взять меня с собой и не сказал при этом, как говорили мне все, что я, «пожалуй, не дойду», и этим привязал меня к себе навсегда. Я непрестанно думал о его таинственном путешествии. Я был убежден, что он встретил какую-то девушку. Наверное, она бесконечно красивее всех девушек в городке, красивее Жанны, которую можно увидеть в монастырском саду, если заглянуть туда в замочную скважину, красивее розовой белокурой Мадлены, дочери булочника, красивее прелестной, но глупенькой Женни, которую ее мать, владелица замка, всегда держит взаперти. И, конечно, о ней, о той девушке, думал он по ночам, как все герои романов.

И я решил, что смело заговорю с ним об этом в первую же ночь, как он разбудит меня…

Вечером, после этой новой драки, мы складывали на место садовые инструменты — лопаты и мотыги, служившие для окапывания деревьев. Вдруг на дороге раздались крики. Это была целая ватага подростков и мальчишек во главе с Делюшем, Даниэлем, Жирода и еще кем-то, кто не был нам знаком; они шли гимнастическим шагом, по четыре человека в ряд, как хорошо обученная рота. Заметив нас, они принялись гикать и свистеть. Значит, против нас был весь город, готовилась какая-то воинственная игра, из которой мы были исключены.

Мольн, не говоря ни слова, снял с плеча лопату и кирку и положил их под навес… Но в полночь я почувствовал его прикосновение и сейчас же проснулся.

— Вставай, — сказал он, — мы уходим.

— Теперь ты знаешь дорогу до конца?

— Я знаю большую часть дороги. И мы должны отыскать остальную! — ответил он, стиснув зубы.

— Слушай, Мольн, — сказал я, садясь на постели. — Слушай меня. Нам остается только одно: днем, когда будет совсем светло, мы вдвоем по-

пробуем найти по твоему плану ту часть пути, которой нам недостает.

— Но это очень далеко отсюда.

— Ну и что же! Мы поедем туда в повозке, летом, когда настанут долгие дни.

Он промолчал, и я понял, что он согласен.

— И раз уж мы собираемся вдвоем разыскивать девушку, которую ты любишь, — добавил я, — расскажи мне о ней, Мольн.

Он сел в ногах моей постели. В полутьме я видел его опущенную голову, его скрещенные руки, его колени. Он глубоко вздохнул, как человек, у которого долго было тяжело на сердце и который может наконец доверить свою тайну…

Глава восьмая
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

В ту ночь мой товарищ еще не рассказал мне всего, что произошло с ним тогда на дороге. И даже потом, в скорбные дни, о которых речь еще впереди, когда он наконец решился довериться мне до конца, это долго оставалось великой тайной нашего отрочества. Но теперь, когда все кончено, теперь, когда от всего хорошего, от всего плохого остался лишь прах, теперь я могу рассказать о его странном приключении.

В тот морозный день в половине второго на вьерзонской дороге Мольн нахлестывал свою лошадь изо всех сил: он знал, что опаздывает. Вначале ему было весело: он думал лишь о том, как мы все удивимся, когда к четырем часам он привезет нам дедушку и бабушку Шарпантье. Ведь в те минуты это было, конечно, единственной целью его поездки.

Понемногу его стал пронимать холод, и он закутал ноги попоной, от которой сперва отказывался на ферме Бель-Этуаль, так что ее чуть ли не насильно сунули к нему в повозку.

В два часа он проехал через городок Ла-Мотт. Прежде ему ни разу не приходилось бывать в таких местах в часы школьных занятий, и он с интересом разглядывал пустынные, словно дремлющие улицы. Лишь изредка то здесь, то там поднималась занавеска, и в окне показывалось лицо любопытной кумушки.

При выезде из Ла-Мотта, сразу за зданием школы, дорога разветвлялась, и Мольн заколебался; ему вроде бы помнилось, что к Вьерзону надо свернуть налево. Спросить было не у кого. Он пустил кобылу рысью; дорога была теперь совсем узкой и плохо мощенной. Некоторое время он ехал вдоль леса и наконец повстречал телегу. Сложив ладони рупором, Мольн окликнул возницу и спросил, это ли дорога на Вьерзон. Но кобыла, натягивая поводья, по-прежнему бежала рысью, — человек, очевидно, не расслышал вопроса, он что-то прокричал в ответ с неопределенным жестом, и Мольн продолжал свой путь наугад.

Снова потянулись замерзшие поля, пустые и однообразные; порой лишь сорока, испугавшись повозки, отлетала подальше и садилась на обломанную верхушку вяза. Путник накинул на плечи попону и закутался в нее, как в плащ. Вытянув ноги, прислонившись к борту тележки, он

задремал — вероятно, надолго…

…Мольн очнулся от дремоты из-за холода, который теперь пробирал его сквозь попону; он заметил, что местность вокруг изменилась. Не было больше бескрайних горизонтов, не было огромного белого неба, в котором теряется взгляд, вокруг лежали зеленые еще лужайки, обнесенные высокими изгородями. Справа и слева в канавах подо льдом текла вода. Все говорило о близости реки. И дорога, проходившая между высокими плетнями, превратилась теперь в узкую изрытую колею.

Кобыла перешла с рыси на шаг. Мольн стегнул ее кнутом, чтобы заставить бежать быстрее, но она продолжала идти очень медленным шагом, и юноша, опершись руками о передок повозки и посмотрев на лошадь сбоку, заметил, что она хромает на заднюю ногу. Охваченный беспокойством, он тотчас соскочил на землю.

— Нам уже не попасть во Вьерзон к поезду, — сказал он вполголоса.

Даже себе не хотел он признаться в самом тревожном и страшном: в том, что ошибся дорогой и ехал теперь совсем не в сторону Вьерзона.

Мольн долго осматривал ногу животного и не обнаружил никаких следов ранения. Но стоило

ему к ней только прикоснуться, как кобыла начинала пугливо вздрагивать и скрести землю тяжелым неуклюжим копытом. Наконец он понял, что в копыто просто попал камень. Мольн привык иметь дело с животными; присев на корточки, он попытался схватить левой рукой правую ногу лошади, чтобы зажать ее между коленями, но ему мешала повозка. Лошадь два раза вырывалась и уходила на несколько метров вперед. Подножка ударила его по голове, колесом ободрало коленку. Он упрямо продолжал свои попытки и в конце концов одержал над пугливым животным верх, но камешек вошел в копыто очень глубоко, и, чтобы его вынуть, Мольну пришлось пустить в ход свой крестьянский нож.

Когда операция была закончена и, усталый, с покрасневшими глазами, Мольн смог наконец выпрямиться, он с изумлением увидел, что приближается ночь…

Любой другой на месте Мольна немедленно повернул бы назад. Только так можно было бы найти дорогу. Но он рассудил, что Ла-Мотт все равно остался далеко позади. К тому же, пока он спал, кобыла могла свернуть на какой-нибудь поперечный проселок. Наконец, и та дорога, на которой он сейчас находился, должна же была

привести его к какому-нибудь селению… Прибавьте ко всему этому, что, встав на подножку и чувствуя, как нетерпеливое животное натягивает вожжи, юноша вдруг ощутил, как растет в нем непреодолимое желание к чему-то прийти, куда-то, вопреки всем препятствиям, добраться!

Он хлестнул кобылу, она сделала скачок в сторону и понеслась быстрой рысью. Темнота густела. Изрытая дорога стала такой узкой, что на ней не могли бы разъехаться две повозки. Иногда в колесо попадала засохшая ветка изгороди и ломалась с сухим треском… Когда стало совсем темно, Мольн вдруг подумал с замиранием сердца о нашей столовой в Сент-Агате, где в этот час все уже, наверное, сели за стол. Потом его охватил гнев, потом, при мысли о своем невольном побеге, он ощутил гордость и глубокую радость…

Глава девятая
ОСТАНОВКА

Вдруг кобыла замедлила бег, будто в темноте на что-то наткнулась; Мольн увидел, как она дважды опускала и опять поднимала голову, потом она резко остановилась, пригнув морду к земле и словно что-то обнюхивая. Под ее ногами слышался плеск воды. Дорогу пересекал ручей. Летом здесь, наверно, был брод. Но в это время года течение было таким сильным, что лед не сумел его сковать; ехать дальше было бы опасно.

Мольн легонько потянул вожжи, отъехал на несколько шагов назад и, не зная, что делать, выпрямился в повозке во весь рост. Тогда-то он и заметил свет между ветвями. Значит, всего каких-нибудь два-три поля отделяли Мольна от дороги…

Он вылез из повозки и повел лошадь назад, приговаривая, чтобы успокоить животное, которое испуганно встряхивало головой:

— Пошли, старушка! Пошли! Теперь уж нам недалеко. Скоро будем на месте.

И, толкнув полуоткрытую калитку в ограде,

окружавшей лужайку, которая примыкала к дороге, Мольн провел упряжку за собой. Ноги глубоко уходили в мягкую траву. Повозка бесшумно тряслась на ухабах. Прижавшись головой к голове лошади, Мольн чувствовал ее тепло, ее тяжелое дыхание… Он подвел ее к самому краю лужайки, покрыл ей спину попоной, потом раздвинул ветки изгороди и снова увидел свет. Это был одинокий дом.

Но чтобы до него добраться, Мольну пришлось пересечь еще три поляны, перепрыгнуть через предательский ручеек, в котором он промочил ноги… Наконец, сделав последний прыжок с высокого пригорка, он очутился во дворе деревенского дома. У корыта хрюкала свинья. Услышав шум шагов по мерзлой земле, неистово залаяла собака.

Дверь была открыта, и слабый свет, замеченный Мольном с дороги, оказался светом очага, в котором пылала охапка хвороста. Другого освещения в доме не было. Добродушного вида женщина поднялась со стула и подошла к дверям, не проявляя никакого испуга. В этот миг стенные часы с гирями пробили половину седьмого.

— Извините меня, пожалуйста, — сказал подросток, — кажется, я наступил на ваши хри-

зантемы.

Женщина стояла с миской в руках и смотрела на него.

— И, верно, — сказала она, — во дворе такая темень, что недолго и заблудиться.

Они помолчали; стоя в дверях, Мольн оглядывал стены комнаты, оклеенные иллюстрированными журналами, как это бывает на постоялых дворах. На столе лежала мужская шапка.

— Что, хозяина дома нет? — спросил Мольн, садясь.

— Он сейчас вернется, — ответила женщина, видимо проникаясь к Мольну доверием. — Он пошел за хворостом.

— Да мне он, собственно, и не нужен, — продолжал юноша, придвигая свой стул поближе к огню. — Нас тут несколько охотников в засаде. Я пришел спросить, не уступите ли вы нам немного хлеба.

Большой Мольн знал, что, когда говоришь с крестьянами, да еще на уединенной ферме, не стоит пускаться в откровенность, — тут нужна особая политика, а главное — нельзя показывать, что ты нездешний.

— Хлеба? — переспросила она. — Как раз хлеба-то мы вам дать и не можем. Каждый вторник

здесь бывает булочник, но сегодня он почему-то не приехал…

Огюстен, который все еще надеялся, что где-нибудь неподалеку есть деревня, испугался.

— Булочник из какой деревни? — спросил он.

— Ну конечно из Вье-Нансея, откуда же еще! — ответила женщина с удивлением.

— А сколько отсюда до Вье-Нансея? — продолжал с тревогой свои расспросы Мольн.

— Сколько будет по дороге, я вам точно не скажу, а напрямик — три с половиной лье.

И она принялась рассказывать, что там у нее дочка в прислугах живет, и каждое первое воскресенье они ее навещают, и что ее хозяева…

Но Мольн в полной растерянности прервал ее:

— Значит, Вье-Нансей — это самый близкий отсюда городок?

— Нет, ближе всего — Ланд, до него пять километров. Но там нет ни торговцев, ни булочника. Зато каждый год в день святого Мартина там собирается столько народу…

Мольн никогда и не слышал такого названия — Ланд. Ну и заблудился же он! Это даже начинало его забавлять. Но женщина, которая ополаскивала миску над каменным корытом, с любопытством обернулась и, глядя на него в

упор, медленно проговорила:

— Так, значит, вы нездешний?

В это время в дверях показался пожилой крестьянин и сбросил на пол вязанку дров. Женщина очень громко, словно перед ней был глухой, объяснила ему просьбу молодого человека.

— Ну что ж! Это не трудно, — сказал он просто. — Но придвиньтесь поближе, сударь. Так вы не согреетесь.

Минуту спустя оба сидели у камина, старик колол дрова и подбрасывал их в огонь, Мольн трудился над миской молока с хлебом, которым угостили его хозяева. Наш путешественник был счастлив, что после стольких тревог попал в этот скромный дом, ему казалось, что его странное приключение закончилось, он уже мечтал, что когда-нибудь вернется сюда вместе с товарищами, чтобы повидать этих славных людей. Мольн не знал, что то была всего лишь короткая передышка и что через несколько минут он снова двинется в путь.

Он попросил вывести его на дорогу, идущую на Ла-Мотт. И, понемногу приближаясь к правде, рассказал, что отстал со своей повозкой от других охотников и теперь совершенно сбился с пути.

Тогда супруги предложили ему остаться но-

чевать; он сможет отправиться дальше, когда рассветет; они так долго настаивали, что Мольн в конце концов согласился и вышел, чтобы завести лошадь в конюшню.

— Будьте осторожны, на тропинке много выбоин, — сказал ему крестьянин.

Мольн не осмелился признаться, что сюда он пришел не «по тропинке». Он уже был готов просить хозяина проводить его. Заколебавшись, он на минуту остановился на пороге, и нерешительность его была так велика, что он пошатнулся. Потом вышел в темный двор.

Глава десятая
ОВЧАРНЯ

Чтобы осмотреться получше, он снова взобрался на тот самый пригорок, с которого раньше спрыгнул.

Медленно, с трудом продираясь сквозь заросли, ступая, как и прежде, по лужам, перелезая через ивовые плетни, он направился в глубь луга, где оставил повозку. Но повозки там больше не было… Застыв на месте, чувствуя, как в висках стучит кровь, он жадно ловил ночные звуки, и каждую секунду ему казалось, что он уже слышит, как где-то здесь, совсем рядом, звенят бубенчики на конской сбруе… Нет, ничего не слышно. Он обошел весь луг; плетень был местами раздвинут, местами повален, словно по нему проехало колесо. Должно быть, лошадь отвязалась и ушла.

Снова выбираясь на дорогу, он сделал несколько шагов — и вдруг его ноги запутались в попоне: видимо, она соскользнула со спины лошади на землю; значит, решил он, лошадь ушла в этом направлении. И он пустился бежать.

Ни о чем не думая, ощущая только упрямое и

неистовое желание во что бы то ни стало догнать упряжку, с прилившей к лицу кровью, весь во власти этого панического желания, похожего на страх, он бежал… Несколько раз он попадал в рытвины. На поворотах, в полной темноте, он налетал на изгороди и, слишком усталый, чтобы вовремя остановиться, раздирал о колючки ладони, стараясь только защитить лицо выставленными вперед руками. Иногда он останавливался, прислушивался — и снова бежал. Однажды ему показалось, что он слышит шум колес, но это была телега, громыхавшая на дороге где-то слева, очень далеко…

Был момент, когда у Мольна так заныло колено, ушибленное вечером о подножку, что ему пришлось остановиться, — нога почти не сгибалась. И тут он подумал, что, если бы кобыла не бежала галопом, он бы давно ее поймал. К тому же, сказал он себе, ведь не может повозка так просто затеряться, кто-нибудь непременно ее найдет. И Мольн пошел назад, до предела усталый, злой, еле волоча ноги.

Время шло, ему казалось, что он узнает место, откуда начал погоню, и скоро он увидел свет в доме, который искал. От изгороди шла глубоко протоптанная тропинка.

«Об этой самой тропинке и говорил мне старик», — подумал Огюстен.

И он пошел по ней, радуясь, что больше не нужно перелезать через плетни и карабкаться по склонам. Через некоторое время тропинка свернула влево, а свет, казалось, переместился вправо; Мольн дошел до места пересечения нескольких тропинок и, торопясь поскорее добраться до своего скромного ночлега, выбрал, не размышляя, ту из них, которая, казалось, вела прямо к дому. Но не успел он сделать и десяти шагов, как свет исчез; то ли он скрылся за изгородью, то ли крестьяне, устав его ждать, закрыли ставни. Юноша смело пошел через поле, прямо в том направлении, где только что горел свет. Потом, перебравшись еще через одну изгородь, он оказался на новой тропинке…

Так понемногу запутывался след Большого Мольна и рвалась та нить, которая связывала его с покинутыми им людьми.

В отчаянии, выбиваясь из сил, он решил идти по этой тропинке до конца. Шагов через сто он вышел в открытое поле, казавшееся серым в ночной темноте, по нему были разбросаны тени, должно быть кусты можжевельника, в ложбине вырисовывалось темное строение. Мольн подошел

поближе. Это был не то загон для скота, не то заброшенная овчарня. Дверь со скрипом подалась. Когда ветер разгонял тучи, сквозь щели в стенах пробивался лунный свет. Пахло плесенью.

Не в силах идти дальше, Мольн растянулся на сырой соломе, опершись на локоть, опустив голову на ладонь. Потом снял ремень и свернулся в комок, натянув на ноги блузу и поджав колени к животу. Тут ему вспомнилась попона, которую он оставил на дороге, и он почувствовал себя таким несчастным, ощутил такую злость на самого себя, что чуть не заплакал…

Тогда он заставил себя думать о другом. Продрогший до мозга костей, он вспомнил сон, или, скорее, видение, посетившее его однажды в детстве, видение, о котором он никому никогда не рассказывал. Как-то утром он проснулся не в своей комнате, где висели его штанишки и куртки, а в длинном зеленом зале, с обоями, похожими на листву. В зале струился свет, такой нежный, что хотелось попробовать его на вкус. Возле ближайшего окна сидела девушка и, повернувшись к мальчику спиной, что-то шила, словно ожидая, когда он проснется… А у него не было сил соскользнуть с кровати и пройти по этому волшебному залу. Он снова заснул… Но, засыпая,

поклялся, что в следующий раз обязательно встанет… Может быть, завтра утром!..

Глава одиннадцатая
ТАИНСТВЕННОЕ ПОМЕСТЬЕ

Как только рассвело, он снова пустился в путь. Но его мучило распухшее колено, боль была так сильна, что через каждые несколько минут приходилось останавливаться и садиться на землю. Местность, в которой он очутился, была, видимо, самой пустынной частью Солони.[1] За все утро он лишь один раз увидел пастушку, которая где-то далеко, у самого горизонта, стерегла свое стадо. Он было окликнул ее, пытался подбежать к ней, но она исчезла, не услышав его крика.

А он шел и шел все в одном направлении — шел удручающе медленно… Ни живой души вокруг, ни человеческого жилья. Не слышно было даже крика куликов в болотных камышах. И над этим пустынным простором сияло ясное и холодное декабрьское солнце.

Было, наверное, уже часа три дня, когда он заметил наконец, что над верхушками елового леса возвышается серая башенка со шпилем.

---

[1] Примечания: 1

Солонь — область Франции в излучине реки Луары. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

«Какой-нибудь заброшенный замок, — подумал он, — или пустая голубятня!..»

И, не ускоряя шага, он продолжал свой путь. От опушки леса, между двумя белыми столбами, начиналась аллея; Мольн вошел в нее. Сделав несколько шагов, он остановился, пораженный, полный необъяснимого волнения. Потом опять пошел прежним усталым шагом; от ледяного ветра трескались губы, порой замирало дыхание, но Мольна охватила необыкновенная радость, какой-то удивительный, пьянящий душу покой, уверенность, что он дошел наконец до цели и его ждет теперь только счастье. Лишь в детстве, накануне больших летних праздников, когда с наступлением темноты на улицах городка вырастали елки и окно его комнаты утопало в зеленых ветвях, ощущал он такое же счастливое изнеможение.

«Сколько радости — и все только оттого, что я пришел к этой старой голубятне, полной сов и сквозняков!» — подумал он.

И, сердясь на себя, остановился, размышляя, не лучше ли повернуть назад и постараться добрести до ближайшей деревни. Так он стоял какое-то время в раздумье, опустив голову, и вдруг заметил, что аллея подметена ровными

большими кругами, как будто здесь готовились к празднику… Можно было подумать, что он оказался на главной улице родного городка утром в день успения!.. Вряд ли бы он удивился сильнее, если увидел бы за поворотом толпу празднично разодетых людей.

— Что за праздник в подобной глуши? — спросил он себя.

Дойдя до первого поворота, он услышал голоса, они приближались. Он кинулся в сторону, в густые заросли ельника, присел на корточки и затаил дыхание. Это были детские голоса. Группа детей прошла по аллее совсем близко. Голосок — вероятно, маленькой девочки — прозвучал так рассудительно и важно, что Мольн, хотя и не понял, о чем идет речь, не мог удержаться от улыбки.

— Меня беспокоит только один вопрос, — говорила девочка. — Я имею в виду лошадей. Кто может помешать, например Даниэлю, сесть верхом на большого желтого пони?

— Никто не сможет мне помешать! — отвечал насмешливый мальчишеский голос. — Разве нам не разрешили делать все, что захочется?.. Даже расшибиться, если нам это по вкусу…

Голоса удалились, и с Мольном поравнялась

новая группа детей.

— Если лед растаял, — сказала девочка, — завтра с утра можно на лодках кататься.

— А разве нам разрешат? — спросила ее подруга.

— Да вы же знаете, что это наш праздник и мы можем делать все, что захотим!

— А если Франц вернется сегодня вечером со своей невестой?

— Ну и что ж! Он тоже будет все делать по-нашему!..

«Вероятно, речь идет о свадьбе, — подумал Огюстен. — Но неужели здесь командуют дети?.. Странное поместье!»

Он решил выйти из своего тайника и спросить, где можно поесть и попить. Выпрямившись, он увидел, как удаляется от него вторая группа детей. Это были три девочки в коротких, до колен, свободных платьях. На них были красивые шляпки, завязанные под подбородком. С каждой шляпки ниспадало длинное белое перо. Одна из девочек, полуобернувшись и чуть наклонив голову, слушала свою подругу, которая, подняв палец, что-то объясняла ей с важным видом.

«Они испугаются меня», — подумал Мольн, глядя на свою разорванную крестьянскую блузу и

замысловатый пояс воспитанника сент-агатского коллежа.

Боясь, как бы дети на обратном пути не увидали его в аллее, Мольн пошел напрямик через ельник по направлению к «голубятне», не задумываясь о том, что он будет там делать. На опушке дорогу ему преградила невысокая замшелая стена. По ту сторону стены был длинный узкий двор, окаймленный службами и весь заставленный экипажами, как постоялый двор в дни ярмарки. Здесь были повозки всех видов и фасонов: изящные четырехместные коляски с торчащими вверх оглоблями, шарабаны, давно вышедшие из моды кареты с резными карнизами, и даже старинные дорожные берлины с поднятыми зеркальными стеклами.

Спрятавшись за елками, чтобы его не заметили, Мольн рассматривал все это нагромождение повозок; вдруг его взгляд упал на полуоткрытое окно одной из пристроек, как раз на уровне сиденья высокого шарабана. Когда-то окно было заперто на два железных засова, какие можно увидеть в старых усадьбах на закрытых воротах конюшен; но время источило их.

«Я заберусь туда, — решил Мольн, — высплюсь на сене, а утром уйду, и мне не придется пугать

этих славных девчушек».

Он очутился не на сеновале, а в просторной комнате с низким потолком, очевидно спальне. В полумраке зимнего вечера видно было, что стол, камин и даже кресла завалены большими вазами, дорогой утварью, старинным оружием. В глубине комнаты, за занавесом, должно быть, скрывался альков.

Мольн закрыл окно, — было холодно, к тому же он боялся, как бы его не увидели со двора. Он приподнял занавес и обнаружил за ним большую низкую кровать, на которой валялись в беспорядке старые книги в позолоченных переплетах, лютни с порванными струнами, подсвечники… Сдвинув всю груду в глубь алькова, он улегся на этом ложе, чтобы немного отдохнуть и поразмыслить по поводу своего странного приключения.

Над поместьем царила глубокая тишина. Только слышно было порой, как завывает холодный декабрьский ветер.

И Мольн, лежа в своем убежище, не мог отделаться от мысли: а что, если, несмотря на все эти странные встречи, несмотря на детские голоса в аллее, несмотря на сборище карет, — что если это просто-напросто старое заброшенное строение, каким оно ему показалось вначале, — просто

пустой дом, затерянный в зимнем одиночестве?

Скоро ему почудилось, что ветер доносит откуда-то далекую музыку. Это было похоже на воспоминание, полное прелести и сожалений. Он вспомнил время, когда его мать, еще молодая, садилась вечером в зале за рояль, а он молча стоял за дверью, выходившей в сад, и слушал, слушал до самой ночи…

«Словно кто-то на рояле играет?» — подумал он.

Но этот вопрос остался без ответа. Измученный, Мольн тут же заснул…

Глава двенадцатая
КОМНАТА ВЕЛЛИНГТОНА

Когда он проснулся, было темно. Он зябко ворочался на своем ложе, дрожа от холода, комкая и подбирая под себя полы своей блузы. Слабый синевато-зеленый свет окрашивал занавес алькова.

Сев на кровати, он просунул голову между занавесок. Пока он спал, кто-то раскрыл окно и повесил в оконном проеме два зеленых венецианских фонаря.

Но едва Мольн успел взглянуть на них, как на лестнице послышался приглушенный шум шагов и тихие голоса. Мольн быстро спрятался в альков, задев своими подкованными башмаками какую-то бронзовую вещь, и она звякнула, ударившись о стену. В тревоге он на миг затаил дыхание. Шаги приблизились, и в комнату скользнули две тени.

— Не шуми, — послышался голос.

— Да что там! — ответил другой. — Ему уж давно пора бы проснуться!

— Ты обставил его комнату?

— Конечно, как и все другие.

Ветер хлопнул рамой открытого окна.

— Посмотри-ка, — сказал первый, — ты даже не закрыл окно. Ветер уже погасил один фонарь. Нужно его опять зажечь!

— Вот еще! — возразил второй, внезапно охваченный ленью и унынием. — К чему вся эта иллюминация — здесь, в деревенской глуши? Кто увидит наши фонари?

— Как кто? Да ведь до утра приедут новые гости. Им будет приятно еще с дороги, из экипажей, увидеть наши огни!

Мольн услыхал, как чиркнула спичка. Тот, кто говорил последним и, казалось, был здесь главным, продолжал — тягуче, чуть нараспев, на манер могильщика из «Гамлета»:

— Повесь зеленые фонари в комнате Веллингтона. И красные тоже повесь… Ведь ты сам все знаешь не хуже меня!

Молчание.

— Веллингтон был, кажется, американец? Так вот, зеленый — это американский цвет. Тебе, бродячему актеру, надо бы знать такие вещи.

— О-ля-ля! — воскликнул «актер». — Ты говоришь, бродячий? Да, я побродил на своем веку! Но я ничего не видел! Много ли увидишь из фургона?

Мольн осторожно выглянул из-за занавесок.

Тот, кто командовал, оказался грузным мужчиной, без шляпы и в широченном пальто. В руке у него был длинный шест, увешанный цветными фонарями, он сидел, заложив ногу за ногу, и спокойно смотрел, как работает его товарищ.

Что касается актера, — более жалкую фигуру было трудно себе представить. Длинный, тощий, дрожащий от холода, с косящими зеленоватыми глазами, с усами, свисающими на щербатый рот, он походил на утопленника, только что вытащенного из воды. Пиджака на нем не было, и зубы его выбивали дробь. Все его слова и движения свидетельствовали о том, что к своей персоне он относился с величайшим пренебрежением.

После минутного раздумья, горестного и в то же время насмешливого, он подошел к своему приятелю и, широко расставив руки, проговорил:

— Знаешь, что я тебе скажу?.. Никак в толк не возьму, зачем понадобилось посылать за такими подонками, как мы с тобой, чтобы прислуживать на этом празднике! Так-то, мой милый!..

Но толстяк не обратил никакого внимания на этот крик души; по-прежнему безмятежно, скрестив ноги, сопя и зевая, он наблюдал за работой товарища, потом встал, повернулся спиной, взва-

лил свой шест на плечо и вышел, говоря:

— Ну, пошли! Пора одеваться к обеду.

Бродяга последовал за ним; проходя мимо алькова, он стал кланяться, приговаривая с издевкой в голосе:

— Господин Соня! Вам остается лишь проснуться и одеться маркизом — даже в том случае, если вы такой же голодранец, как я. И вы спуститесь вниз, на костюмированный бал, потому что так хотят маленькие кавалеры и маленькие барышни.

И, делая последний реверанс, добавил тоном ярмарочного шута:

— Наш сотоварищ Малуайо, прикомандированный к кухонному ведомству, представит вам Арлекина и вашего покорного слугу, великого Пьеро…

Глава тринадцатая
СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК

Как только они исчезли, Мольн вышел из своего убежища. У него замерзли ноги, окоченели все суставы, но он чувствовал себя отдохнувшим, и боль в колене как-будто прошла.

«Спуститься к ужину! — подумал он. — Уж что-что, а это я сделаю. Я буду просто гостем, чьего имени никто не помнит. Впрочем, я здесь и не совсем посторонний: ведь совершенно очевидно, что господин Малуайо со своим приятелем ждали меня…»

После полной темноты алькова он смог довольно ясно разглядеть комнату, освещенную зелеными фонарями.

Бродяга «обставил» ее. На крюках висели плащи. На разбитой мраморной доске массивного туалетного стола было разложено все, при помощи чего можно превратить в щеголя даже юношу, который провел всю ночь в заброшенной овчарне. На камине, рядом с большим подсвечником, лежали спички. Только вот паркет забыли натереть, и под ногами Мольна хрустел песок и

щебень. Ему опять показалось, что он попал в дом, давно покинутый обитателями… Направляясь к камину, он споткнулся о груду больших картонок и ящичков; он протянул руку, зажег свечу и, сняв крышки, наклонился, чтобы разглядеть содержимое коробок.

Там были старинные костюмы для молодых людей: сюртуки со стоячими бархатными воротниками, изящные жилеты с глубоким вырезом, бесчисленные белые галстуки и лакированные башмаки, какие носили в начале девятнадцатого века. Сперва Мольн не смел ни к чему притронуться, но потом, вздрагивая от холода, он почистил свое платье, накинул на ученическую блузу один из больших плащей, подняв его плиссированный воротник, заменил свои подбитые железом башмаки щегольскими лакированными туфлями и, не надевая шляпы, тихонько вышел из комнаты.

Не встретив ни души, Мольн спустился вниз по деревянной лестнице и очутился в темном закоулке двора. Ледяное дыхание ночи коснулось его лица и приподняло полу плаща.

Он сделал несколько шагов и при смутном свете, струившемся с неба, смог разглядеть очертания окружавших его предметов. Это был

маленький двор, образованный служебными постройками. Все здесь казалось древним и ветхим. Внизу лестниц зияли дыры — дверей давно уже не было, оконные рамы сгнили, и в стенах чернели провалы. Однако все эти здания выглядели таинственно и в то же время празднично. В низких комнатах трепетали яркие отсветы: должно быть, на окнах, выходящих в сторону деревни, тоже повесили зажженные фонари. Двор был подметен, сорная трава выполота. И наконец, прислушавшись, Мольн уловил неясное пение, отдаленные детские и девичьи голоса, они доносились со стороны строений, смутно темневших вдали, — там, где ветер раскачивал ветви перед розовыми, зелеными и синими пятнами окон.

Так он стоял посреди двора, в длинном плаще, напрягая слух, чуть наклонившись вперед, похожий на охотника, выслеживающего добычу; как вдруг из соседнего здания, которое казалось необитаемым, вышел удивительный юный человечек.

На нем был сильно выгнутый цилиндр, блестевший в темноте, как серебряный, камзол, воротник которого упирался в затылок, открытый жилет, панталоны на штрипках… Этот франт, на вид лет пятнадцати, шел на цыпочках,

словно резинки панталон приподнимали его над землей, и при этом передвигался с поразительной скоростью. Не останавливаясь, на ходу, он машинально приветствовал Мольна низким поклоном и растворился в темноте, в той стороне, где было центральное здание — ферма, замок или аббатство, чья башенка еще с полудня указывала школьнику путь.

После недолгого колебания наш герой пошел следом за любопытной фигуркой. Они пересекли большой зеленый двор, прошли сквозь густые ряды деревьев, обогнули огороженный частоколом рыбный садок, миновали колодец и оказались наконец у входа в главное здание.

Тяжелая деревянная дверь, закругленная сверху и обитая гвоздями, как дверь в доме сельского кюре, была полуоткрыта. Щеголь проскользнул в нее. Мольн последовал за ним и, не успев пройти по коридору нескольких шагов, еще никого не видя, окунулся в атмосферу смеха, песен, возгласов и веселой возни.

В глубине коридор пересекался другим, поперечным. Мольн остановился в нерешительности, не зная, идти ли ему дальше или открыть одну из дверей, за которыми слышался шум голосов, как вдруг навстречу ему выбежали, догоняя друг

друга, две девочки. Неслышно ступая мягкими туфлями, Мольн побежал за ними. Двери распахнулись, под старинными шляпками с лентами мелькнули два юных лица, разрумянившихся от беготни и вечерней прохлады, — и все разом исчезло во внезапной вспышке света.

С минуту девочки, играя, кружились на месте; их широкие легкие юбки вздулись, приоткрыв кружева забавных длинных панталон; потом, завершив пируэт, они прыгнули в комнату и снова захлопнули дверь.

Ослепленный, Мольн стоял пошатываясь в черноте коридора. Теперь ему не хотелось, чтобы его обнаружили. У него такой нерешительный и неловкий вид, еще примут за вора. И он уже повернулся к выходу, но в это время в глубине дома снова послышались шаги и детские голоса. Два маленьких мальчика, разговаривая, приближались к нему.

— Что, скоро ли ужин? — спросил их Мольн с самым независимым видом.

— Пойдем с нами, — ответил тот, что казался постарше, — мы тебя проводим.

И с той доверчивостью, с той потребностью в дружбе, которая свойственна детям в канун веселого праздника, каждый из них взял Мольна

за руку. Судя но всему, это были крестьянские дети. Их нарядили как можно лучше: из-под коротких штанишек, чуть пониже колен, видны были толстые шерстяные чулки и башмаки на деревянной подошве, на каждом был камзольчик синего бархата, того же цвета картуз и белый, повязанный бантом, галстук.

— А ты ее знаешь? — спросил один из мальчиков.

— Я-то? — сказал малыш с круглой головой и наивными глазами. — Мама сказала, что она в черном платье с белым воротничком и похожа на красивого попугая.

— О ком это вы? — спросил Мольн.

— О невесте, конечно, за которой отправился Франц…

Мольн не успел ничего сказать — все трое уже стояли в дверях большого зала, где ярко пылал камин. Положенные на козлы доски заменяли столы, на них были постланы белоснежные скатерти, и множество самых разных людей восседало за торжественной трапезой.

Глава четырнадцатая
СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК
(Продолжение)

Этот банкет в большом зале с низким потолком напоминал церемонию угощения родственников, приехавших издалека на деревенскую свадьбу.

Оба мальчика отпустили руки Мольна и кинулись в смежную комнату, откуда слышались детские голоса и дробный стук ложек о тарелки. Смело, без всякого смущения, Мольн перешагнул через скамейку и сел за стол рядом с двумя старыми крестьянками. Тотчас же с волчьим аппетитом набросился он на еду; прошло несколько минут, прежде чем он смог наконец поднять голову от тарелки, чтобы осмотреться и послушать, о чем говорят за столом.

Впрочем, гости были неразговорчивы. Казалось, все эти люди едва знакомы друг с другом. Должно быть, одни приехали сюда из глухих деревень, другие — из дальних городов. То тут, то там за столом виднелись старики с бакенбардами и другие старики, гладко выбритые, — может

быть, они были когда-то моряками. Рядом с ним обедали их ровесники, очень похожие на них: те же обветренные лица, те же живые глаза под косматыми бровями, те же галстуки, узкие, как шнурки для башмаков… Но с первого взгляда было видно, что за всю свою жизнь они не плавали дальше границ своего кантона, а если все же качало и трепало их многие тысячи раз под ветром и дождями, — это происходило во время того тяжкого, хотя и не опасного для жизни путешествия, когда ведешь борозду за бороздой и, дойдя до конца поля, поворачиваешь плуг назад… Женщин за столом почти не было — лишь несколько старых крестьянок в гофрированных чепцах, с круглыми, похожими на печеные яблоки морщинистыми лицами…

Среди гостей не было ни одного человека, с которым бы Мольн не почувствовал себя просто и уверенно. Позднее он так объяснял это впечатление: когда совершишь, говорил он какую-нибудь тяжелую, непростительную ошибку и тебе станет горько, порою подумаешь: «А ведь на свете есть люди, которые меня бы простили». И представишь себе стариков, дедушку с бабушкой, исполненных снисходительности, заранее убежденных в том, что все, что ты делаешь, — хорошо.

Вот такие славные люди и собрались сейчас в этом зале. Что касается остальных гостей, это были подростки и дети…

Рядом с Мольном беседовали две старые женщины.

— Жених с невестой приедут в лучшем случае только завтра, не раньше трех часов, — сказала старшая из них смешным визгливым голосом, который она тщетно пыталась смягчить.

— Замолчи, ты меня просто бесишь, — спокойно ответила вторая; она была в вязаном чепце, надвинутом на лоб.

— Давай подсчитаем! — невозмутимо возразила первая. — Полтора часа железной дорогой от Буржа до Вьерзона да семь лье в карете из Вьерзона сюда…

Спор продолжался. Мольн старался не упустить ни слова. Благодаря этой мирной перепалке ситуация немного прояснилась: Франц де Гале, сын хозяев замка, который был студентом, или моряком, или, может быть, гардемарином, — этого никто не знал точно, — отправился в Бурж за девушкой, на которой собирался жениться. Странная вещь: все в поместье делалось так, как хотел этот молодец, должно быть очень юный и очень взбалмошный. Он потребовал, чтобы

дом, куда он должен привести свою невесту, походил на праздничный дворец. И для того, чтобы отпраздновать приезд девушки в замок, он сам пригласил всех этих детей и добродушных стариков. Вот и все, что удалось узнать Мольну из спора двух женщин. Остальное было загадкой, так как спорщицы без конца возвращались к вопросу о приезде молодых. Одна из них считала, что они прибудут завтра утром. Другая — что после полудня.

— Бедняжечка Муанель, ты все так же глупа, — спокойно говорила та, что была помоложе.

— А ты, моя бедненькая Адель, все так же упрама. Вот уже четыре года, как я тебя не видала, но ты совсем не изменилась, — отвечала вторая, пожимая плечами, но голос ее звучал мирно и кротко.

Они самым благодушным образом продолжали свою перебранку. Надеясь выведать у них что-нибудь новое, Мольн вмешался в разговор:

— А она и вправду так хороша, как о ней говорят, эта невеста Франца?

Они озадаченно взглянули на Мольна. Никто, кроме Франца, молодую девушку в глаза не видел. Сам он, возвращаясь из Тулона, встретил ее однажды вечером, когда она в полном отчаянии

сидела в одном из тех садов Буржа, что именуются там «Болотами». Отец выгнал ее из дому. Она была очень красива, и Франц тотчас решил жениться на ней. Это странная история. Но г-н де Гале, отец Франца и его сестра Ивонна всегда потворствовали любым его желаниям!..

Мольн собирался задать еще несколько осторожных вопросов, но в это время в дверях появилась очаровательная пара: девушка лет шестнадцати, в бархатном корсаже и в юбке с большими воланами, и юный кавалер, в сюртуке с высоким воротником и в панталонах со штрипками. Они прошли через зал легкой походкой, в которой можно было уловить ритм танца, за ними следом шли другие пары, потом с громкими криками вбежала группа детей, а за ними — высокий бледный Пьеро с чересчур длинными рукавами, в черной шапочке и со щербатым смеющимся ртом; он передвигался неуклюжими скачками, подпрыгивал на каждом шагу и размахивал своими длинными пустыми рукавами. Девушки немного побаивались его, молодые люди пожимали ему руку, а дети были в восторге и бегали за ним с пронзительными криками. Оказавшись возле Мольна, Пьеро взглянул на него непроницаемыми глазами, и юноше

показалось, что этот гладко выбритый человек и есть приятель господина Малуайо, тот самый бродячий актер, который недавно развешивал фонари.

Ужин закончился. Все встали из-за стола.

В коридорах кружились хороводы, гости отплясывали фарандолу. Откуда-то доносились звуки менуэта… Мольн, прятавший лицо в воротнике плаща, как в брыжах, чувствовал себя так, словно он превратился в другого человека. Его захватило общее веселье, и он вместе со всеми стал бегать за длинным Пьеро по коридорам замка, точно в театре, где пантомиме стало тесно на сцене и она выплеснулась за кулисы. Так всю ночь напролет кружился он в веселой толпе, разодетой в причудливые костюмы. Иногда, распахнув какую-нибудь дверь, он попадал в комнаты, где показывали картины волшебного фонаря. Детвора шумно хлопала в ладоши… Иногда где-нибудь в углу салона, где танцевали, он перебрасывался несколькими словами то с одним, то с другим щеголем, торопливо осведомляясь, какие костюмы надо будет надевать в следующие дни…

Но в конце концов сама щедрость, с какой раскрывались перед ним все новые удовольствия, стала его немного тревожить; опасаясь,

что в любой момент кто-нибудь увидит под распахнувшимся плащом его ученическую блузу, он укрылся в более укромном и темном уголке здания. Сюда доносились лишь приглушенные звуки рояля.

Мольн вошел в тихую комнату, это была столовая, освещенная висячей лампой. Здесь тоже был праздник — только праздник для самых маленьких.

Одни малыши, сидя на мягких пуфах, перелистывали книжки с рисунками, другие, присев на корточках перед стулом, с увлечением раскладывали на сиденье цветные картинки, третьи, пристроившись поближе к камину, не шевелясь и не говоря ни слова, прислушивались к праздничному гулу, наполнявшему огромное здание.

Дверь столовой была широко раскрыта. В соседней комнате кто-то играл на рояле. Мольн с любопытством заглянул туда. Он увидел небольшой салон, своего рода приемную, за роялем, спиной к Мольну, сидела женщина или девушка в коричневом плаще, накинутом на плечи, и очень тихо наигрывала мелодии танцев и песенок. Рядом, на диване, шесть-семь маленьких мальчиков и девочек чинно сидели и слушали, образуя живописную группу. Лишь время от

времени кто-нибудь из них, опираясь руками о диван, соскальзывал на пол и шел в столовую, а его место занимал другой, которому надоело рассматривать картинки…

После празднества, где все было так чудесно, но слишком шумно и как-то лихорадочно весело и где сам он как безумный гонялся за длинным Пьеро, Мольн вдруг почувствовал себя удивительно счастливым и умиротворенным.

Девушка продолжала играть, а он бесшумно вернулся в столовую, сел и, раскрыв одну из разложенных на столе толстых книг в красных переплетах, стал рассеянно ее перелистывать.

Тут же один из малышей, сидевших на полу, подошел к нему, повис у него на руке и вскарабкался на колени, чтобы вместе смотреть картинки; другой мальчуган забрался к нему на колени с другой стороны. И Мольну показалось, что он снова видит один свой давний сон.

Словно он сидит вечером в своем собственном доме, — уже взрослый, женатый человек, а прелестная незнакомка, играющая на рояле, — это его жена…

Глава пятнадцатая
ВСТРЕЧА

На другое утро Мольн был готов одним из первых. Он надел, как ему советовали, простой черный костюм вышедшего из моды покроя: узкую в талии, широкую в плечах курточку, застегнутый крест-накрест жилет, панталоны, такие широкие снизу, что за ними почти не видно было изящных туфель, и цилиндр.

Когда он спустился вниз, двор был еще пуст. Он прошел несколько шагов, и ему показалось, что наступила весна. В самом деле, это утро было самым теплым за всю зиму. Солнце грело, как в первые дни апреля. Иней таял, и влажная трава сверкала, точно покрытая росой. В ветвях пели птицы, теплый ветерок время от времени легко прикасался к его лицу.

Мольн поступил как гость, проснувшийся раньше хозяина дома. Он вышел во двор, втайне надеясь, что его вот-вот окликнет чей-то сердечный и радостный голос: «Вы уже проснулись, Огюстен?..»

Но ему пришлось долго гулять по саду и двору

в полном одиночестве. Там, в главном здании, ничто не шевелилось, — никакого движения ни за окнами, ни в башенке. Однако створки закругленных деревянных дверей были уже раскрыты. И в одном из окон верхнего этажа, словно ранним летним утром, сверкал солнечный луч.

Мольн впервые смог средь бела дня разглядеть расположение усадьбы. Развалины стены отделяли запущенный сад от двора, который, видимо, недавно посыпали песком и разровняли граблями. За пристройками, в одной из которых ночевал Мольн, находились разбросанные в причудливом беспорядке конюшни, образуя множество закоулков, заросших кустарником и диким виноградом. Со всех сторон усадьбу обступил еловый лес, закрывая вид на плоскую равнину, только на востоке виднелись синие скалистые холмы, поросшие все тем же еловым лесом.

Проходя по саду, Мольн на минуту нагнулся над шатким деревянным барьером, окружавшим садок для живой рыбы; по краям еще оставалось немного льда, тонкого, в морщинах, как пенка на молоке… Мольн увидел в воде свое отражение, словно склонившееся над небом, свой романтический костюм, и ему показалось, что перед ним совсем другой Мольн, — не школьник, удравший

из дому в крестьянской повозке, а очаровательное, загадочное существо, точно сошедшее со страниц дорогой, прекрасной книги…

Почувствовав, что проголодался, Мольн заспешил к главному зданию. В большом зале, где он обедал накануне, крестьянка накрывала на стол, расставляла на скатерти ряды чашек. Мольн уселся, она налила ему кофе и сказала:

— Вы нынче первый, сударь.

Он очень боялся, что его могут принять за постороннего, и ничего не ответил. Он только спросил, когда начнется лодочная прогулка, о которой было объявлено накануне.

— Не раньше, чем через полчаса, сударь: никто еще не спускался к завтраку, — последовал ответ.

И он опять стал бродить вокруг длинного здания замка с несимметричными, как у церкви, крыльями, разыскивая причал. Обогнув южное крыло, он вдруг увидел перед собой заросли камышей, заполнявшие все пространство, насколько хватал глаз. Пруды подступали с этой стороны к самым стенам дома, и перед многими дверьми были устроены деревянные балкончики, которые нависали прямо над плещущими волнами.

Не зная, чем заняться, Мольн побрел по песча-

ному берегу, похожему на дорогу, по какой тянут бечевою суда. Он с любопытством разглядывал большие двери и за их пыльными стеклами — запущенные нежилые комнаты и кладовые, заваленные тачками, ржавыми инструментами и разбитыми цветочными горшками, как вдруг с другого конца здания донесся до него хруст шагов по песку.

Это были две женщины — одна совсем старая, сгорбленная, другая — молодая девушка, белокурая, стройная, в прелестном платье, которое после вчерашнего маскарада сперва показалось Мольну необычным.

Они остановились на миг, глядя на расстилавшийся перед ними пейзаж, и Мольн с удивлением, которое потом сам же счел неуместным, подумал: «Именно таких девиц называют эксцентричными… Верно, какая-нибудь актриса, которую наняли на время праздника».

Женщины прошли совсем рядом с Мольном, и он, застыв на месте, посмотрел на девушку. Много позже, когда он вечерами мучительно пытался вспомнить стершееся в памяти прекрасное лицо, ему часто виделось во сне целые вереницы молодых женщин, похожих на эту. На одной была такая же шляпка, другая шла, так же чуть-чуть

наклонившись вперед; у одной был ее чистый взгляд, у другой — ее тонкий стан или ее синие глаза. Но ни одна из них не была этой высокой девушкой.

Мольн успел увидеть под густыми светлыми волосами лицо с чертами некрупными, но обрисованными с удивительной, почти скорбной тонкостью. Вот она уже прошла вперед, и он смотрел на ее платье и видел теперь, что это самое простое и скромное платье на свете…

Смущенный, он спрашивал себя, идти ли ему за ними следом, как вдруг девушка, неуловимым движением обернувшись к нему, сказала своей спутнице:

— Я думаю, лодка скоро отправится…

И Мольн пошел за ними. Старая дама, дряхлая, трясущаяся, не переставала весело болтать и смеяться. Девушка ласково отвечала ей. Когда они спускались к причалу, она посмотрела на Мольна простодушным и серьезным взглядом, который, казалось, говорил: «Кто вы? Что вам здесь нужно? Я вас не знаю. И все же мне кажется, что я знаю вас».

Среди деревьев в ожидании уже стояли другие гости. К берегу подошли три разукрашенных судна, готовые принять пассажиров. Когда дамы

— как видно, хозяйки поместья и ее дочь — проходили мимо гостей, молодые люди почтительно кланялись, а барышни приседали в реверансе. Странное утро, странная прогулка!.. Солнце грело по-зимнему скупо, было довольно холодно, и женщины кутали шею в пуховые боа, которые были в то время в моде.

Старая дама осталась на берегу, а Мольн, сам не зная каким образом, оказался в одной яхте с молодой владелицей замка. Облокотившись о перила палубы, придерживая рукой шляпу, чтобы ее не сбило ветром, он смотрел на девушку, которая уселась под навесом. Она тоже смотрела на него. Она отвечала своим подругам, улыбалась и время от времени, чуть закусив губу, останавливала на нем взгляд своих синих глаз.

На крутых берегах царила полная тишина. Лодка тихо скользила, мерно шумела машина, шумела вода за кормой. Казалось, стоит середина лета. Казалось, они вот-вот причалят к зеленому саду возле какого-нибудь деревенского дома. Девушка будет гулять под белым зонтиком в саду. До самого вечера будет слышно, как стонут горлицы… Но внезапный порыв ледяного ветра напомнил участникам этого странного праздника, что на дворе — декабрь.

Лодки пристали возле елового леска. Пассажиры столпились на пристани и, тесно прижатые друг к другу, с минуту ожидали, пока лодочники отомкнут замок и откроют калитку барьера. С каким волнением вспоминал потом Мольн ту минуту, когда он стоял на берегу пруда и видел так близко лицо девушки — лицо, которого ему уже больше не увидеть! Он смотрел на ее чистый профиль не отрывая глаз, так пристально, что на глаза набежали слезы. И как маленькую тайну, доверенную только ему одному, запомнил Мольн легкий след пудры на ее щеке…

А потом на берегу все было как во сне. Дети с радостными криками носились по роще, собираясь группками и опять рассыпаясь между деревьев. Мольн шагал по аллее, а впереди, шагах в десяти от него, шла девушка. Он нагнал ее и, не дав себе времени опомниться, просто сказал:

— Вы прекрасны!

Но она ускорила шаг и, не отвечая, свернула на боковую аллею. Вокруг бегали дети, играя кто во что горазд, наугад пересекая дорожки, чувствуя полную свободу. Юноша осыпал себя упреками, называя свой поступок неуместным, грубым, глупым. Он брел куда глаза глядят, уверенный, что больше уже никогда не увидит эту прелестную

девушку, — и вдруг заметил, что она идет прямо ему навстречу. Тропинка была узка, и девушка поневоле должна была пройти совсем рядом с Мольном. Обеими руками без перчаток она придерживала полы своего широкого плаща. На ней были черные открытые туфли, позволявшие видеть щиколотки, такие хрупкие, что, казалось, они могут подломиться.

На этот раз юноша поклонился и очень тихо сказал:

— Пожалуйста, простите меня.

— Я вас прощаю, — ответила она серьезно. — Но я должна пойти к детям: сегодня они здесь хозяева. Прощайте.

Огюстен стал умолять ее задержаться хоть на минуту. Он говорил неловко, но в голосе его звучало такое волнение, такая растерянность, что девушка замедлила шаг и стала слушать.

— Я даже не знаю, кто вы, — сказала она наконец.

Она говорила ровным тоном, одинаково подчеркивая голосом каждое слово, но конец фразы звучал немного мягче, чем начало… Потом ее лицо снова стало неподвижным, и, чуть закусив губы, она посмотрела своими синими глазами куда-то вдаль.

— Я тоже не знаю вашего имени, — ответил Мольн. Теперь они шли по открытой дороге; на некотором расстоянии от них виднелся посреди чистого поля одинокий дом, вокруг которого толпились участники пикника.

— Вот и «дом Франца», — сказала девушка. — Я должна вас покинуть.

Она постояла секунду в нерешительности, посмотрела на него с улыбкой и сказала:

— Вы не знаете моего имени?.. Я — Ивонна де Гале… И она убежала.

«Дом Франца» был в ту пору необитаем. Но толпы гостей вмиг заполонили его снизу доверху — до самых чердаков. Впрочем, у Мольна не нашлось и минуты свободной, чтобы обследовать здание: надо было наспех позавтракать привезенной в лодках холодной провизией, — что было, пожалуй, не совсем по сезону, но, видимо, на этом настояли дети, — и скорей отправляться в обратный путь. Когда Мольн увидел, что мадмуазель де Гале собирается выйти, он подошел к ней и, словно отвечая на ее недавние слова, сказал:

— Имя, которое дал вам я, мне нравится больше.

— Какое же это имя? — спросила она с прежней серьезностью.

Но он испугался, что сказал глупость, и не ответил.

— А меня зовут Огюстен Мольн, я учусь, — сказал он.

— О, вы учитесь? — отвечала она. Они разговаривали еще с минуту. Они беседовали неторопливо и радостно, как друзья. Потом девушка будто переменилась. Она казалась теперь не такой надменной и важной, как прежде, но ее словно что-то встревожило. Казалось, она уже заранее боится того, что скажет ей Мольн. Она шла рядом с ним, вся трепеща, как ласточка, которая на миг опустилась на землю, но уже дрожит от нетерпеливого желания снова взмыть в небо.

— Зачем? Зачем? — тихо отвечала она на все, что говорил ей Мольн.

Но когда наконец, осмелев, он попросил разрешения когда-нибудь снова вернуться в эти чудесные места, она ответила просто:

— Я буду вас ждать.

Они приближались к пристани. Вдруг она остановилась и сказала задумчиво:

— Мы ведем себя как дети. Это безрассудно. Мы не должны теперь садиться в одну лодку. Прощайте. И не идите за мной.

Какой-то миг Мольн стоял в замешательстве,

глядя ей вслед. Потом он тоже пошел к пристани. Девушка остановилась и, обернувшись к Мольну, издали посмотрела на него, впервые посмотрела долгим, внимательным взглядом — и затерялась в толпе гостей. Был ли это последний знак прощанья? Или запрет сопровождать ее? Или, быть может, она хотела еще что-то сказать?..

Когда все вернулись в поместье, на большом, чуть покатом лугу позади конюшен начались скачки пони. Это была последняя часть праздника. Все ожидали, что жених с невестой приедут вовремя, что они смогут присутствовать на скачках и Франц будет сам руководить состязаниями.

Но пришлось начинать без него. Под веселые возгласы, под крики и детский смех, под шум заключаемых пари и долгие удары колокола на лужайку вывели лошадок; мальчики в жокейских костюмах вели резвых пони, разукрашенных лентами; девочки, одетые наездницами, — одряхлевших послушных животных. И деревенский луг сразу стал похож на зеленое, аккуратно подстриженное поле ипподрома в миниатюре.

Мольн узнал Даниэля и тех девочек в шляпках с перьями, которые встретились ему накануне в аллее парка… Но зрелище скачек ускользнуло от его внимания, он был поглощен одной мыслью:

отыскать в толпе милую шляпку с розами и длинный коричневый плащ. Однако мадмуазель де Гале не появлялась. Он продолжал искать ее до тех нор, пока удары колокола и радостные крики не возвестили об окончании скачек. Победу одержала маленькая девочка на старой белой кобылке. Победительница торжественно объехала поле, и султан ее шляпки развевался на ветру.

А затем все сразу смолкло. Игры закончились, а Франц так и не приехал. Гости постояли в нерешительности, посовещались, а потом группами разошлись по своим комнатам и в тревожном молчании стали ждать приезда жениха и невесты.

Глава шестнадцатая
ФРАНЦ ДЕ ГАЛЕ

Скачки закончились слишком рано. Была половина пятого и еще не стемнело, когда Мольн, не успевший прийти в себя от всего, что произошло за этот удивительный день, снова очутился в своей комнате. Не зная, чем заняться, он сел у стола и стал ждать ужина и продолжения праздника.

Опять, как в первую ночь, поднялся сильный ветер. Он то шумел, как поток, то грохотал, как водопад. Временами в камине стучала заслонка.

Впервые Мольн почувствовал ту едва уловимую тоску, которая охватывает вас к концу слишком радостных дней. Он хотел было разжечь огонь в камине, но заржавевшая заслонка не поддавалась. Тогда он принялся приводить комнату в порядок: развесил щегольские костюмы, расставил вдоль стен опрокинутые стулья, как будто собирался прожить здесь еще долгое время.

Вместе с тем не забывая, что нужно быть в любую минуту готовым отправиться в обратный путь, он аккуратно разложил на спинке стула свой дорожный костюм — ученическую блузу и

остальные вещи, в которых он ушел из школы, поставил под стул свои подкованные башмаки, так и не очищенные от грязи.

Потом опять сел и, чувствуя себя немного спокойнее, оглядел прибранное жилище.

Время от времени капли дождя прочерчивали линии по окну, выходившему на каретный двор и еловый лес. Глядя на расставленные по местам вещи, Мольн снова почувствовал себя вполне счастливым. Вот он сидит здесь, таинственный незнакомец, посреди этого неведомого мира, в комнате, которую он сам для себя выбрал. То, чего он достиг, превзошло все ожидания. Стоило ему вспомнить обращенное к нему девичье лицо, обвеваемое ветром, как его охватывала радость…

Так он сидел, не зажигая свечей, и грезил наяву; тем временем настала ночь. Внезапный порыв ветра хлопнул дверьми соседней комнаты, сообщавшейся с комнатой Мольна и тоже выходившей окнами на каретный двор. Мольн встал, чтобы закрыть дверь поплотнее, и вдруг заметил, что оттуда пробивается неясный свет, словно от горящей на столе свечи. Он просунул голову в полуоткрытую дверь. В комнате кто-то был. Очевидно, незнакомец проник через окно и теперь ходил взад и вперед неслышными шагами. Нас-

колько можно было разглядеть в полумраке, это был совсем еще юноша. С непокрытой головой, в брошенной на плечи дорожной накидке, он шагал и шагал, не останавливаясь ни на миг, словно обезумев от невыносимой боли. В распахнутое настежь окно врывался ветер, раздувая полы накидки, и, всякий раз, как молодой человек попадал в полосу света, видно было, как сверкают золоченые пуговицы на его дорогом сюртуке.

Он насвистывал что-то сквозь зубы, какую-то матросскую песенку, вроде тех, что напевают в портовых кабачках моряки и девушки, разгоняя тоску…

На миг прервав свое взволнованное хождение, он наклонился над столом, стал шарить в какой-то коробке и выбрасывать из нее листки бумаги… В мерцании свечи Мольн увидел тонкий профиль, орлиный нос, безусое лицо под пышной шевелюрой, расчесанной на боковой пробор. Незнакомец перестал свистеть. Страшно бледный, с полуоткрытым ртом, он, казалось, с трудом переводит дыхание, как человек, пораженный безжалостным ударом в самое сердце.

Мольн стоял в нерешительности, не зная, уйти ли ему, или, не боясь показаться нескромным, подойти к юноше, участливо, по-товарищески

положить руку ему на плечо, заговорить с ним. Но тот уже поднял голову и увидел Мольна. Секунду он разглядывал его, потом, без всякого удивления, подошел и сказал, стараясь придать своему голосу твердость:

— Сударь, я вас не знаю. Но я рад видеть вас. Раз уж вы оказались здесь, именно вам я и объясню… Да!

Казалось, он не может собраться с мыслями. Сказав «Да!», он взял Мольна за отворот куртки, словно для того, чтобы привлечь его внимание. Потом повернул голову к окну, точно размышляя, с чего начать, и зажмурил глаза; Мольн понял, что юноша с трудом сдерживает слезы.

А тот, по-детски проглотив подступивший к горлу комок, снова заговорил дрогнувшим голосом, не отводя пристального взгляда от окна:

— Так вот! Все кончено. Праздник кончился. Можете пойти и сказать им об этом. Я вернулся один. Моя невеста не придет. Из-за своей мнительности, из-за боязни, из-за неверия… Впрочем, сударь, я вам все объясню…

Но он не мог продолжать; лицо исказилось. Он так ничего и не объяснил. Резким движением отвернувшись от Мольна, он стал в темноте выдвигать и задвигать ящики с бельем и книгами.

— Я должен приготовиться к отъезду. Пусть мне никто не мешает.

Он стал выкладывать на стол всякие вещи, дорожный несессер, пистолет…

И Мольн, в полном смятении, вышел, не посмев ни заговорить с ним, ни пожать ему руку.

А внизу все уже словно почувствовали, что произошло что-то недоброе. Почти все девушки переоделись в свои обычные платья. Ужин в главном здании начался, но проходил беспорядочно, в спешке, как перед отъездом в дальнюю дорогу.

Между большой столовой и комнатами верхнего этажа, между замком и конюшнями непрерывно сновали гости. Те, кто уже поужинал, собирались группами и прощались друг с другом.

— Что здесь происходит? — спросил Мольн у деревенского паренька в фетровой шляпе, который торопился закончить еду, прикрыв жилет салфеткой.

— Мы уезжаем. Все как-то сразу решили. К пяти часам мы оказались одни, без хозяев. Ждать дольше было бесполезно. Стало ясно, что жених с невестой не приедут. Кто-то сказал: «А не уехать ли нам?..» И все начали собираться в дорогу.

Мольн ничего не ответил. Теперь и ему, пожа-

луй, можно уезжать. Разве не завершилось его приключение? Разве не добился он всего, чего желал? Он еще не имел времени спокойно обдумать чудесный утренний разговор. Сейчас ему оставалось одно — уехать. Но скоро он вернется сюда — на этот раз открыто, без всякого плутовства…

— Если вы хотите ехать вместе с нами, поторопитесь, — продолжал сосед, который, казалось, был ровесником Мольна. — Мы сейчас запрягаем.

Оставив едва начатый ужин и даже не позаботившись о том, чтобы рассказать гостям то, что он узнал, Мольн со всех ног помчался к себе в комнату. Парк, сад и двор были погружены в глубокий мрак. В окнах уже не горели фонари. Но поскольку эта трапеза все же могла сойти за последнюю церемонию, завершающую свадебные торжества, кое-кто из гостей, подвыпив, решил затянуть песню.

Уходя все дальше от главного здания, Мольн слышал, как в парке, который в эти два дня был полон очарования, видел столько чудес, звучали теперь кабацкие напевы. Это было началом беспорядка и опустошения. Мольн прошел мимо рыбного садка, где еще сегодня утром вглядывался он в свое отражение. Как все успело

перемениться… И все из-за этой подхваченной многими голосами песни, обрывки которой долетели до него:

Ах, ты, распутница, где ты была?
Разорван твой чепчик,
Растрепаны косы…

И еще одной:

Красные туфли мои…
Прощай же, моя любовь…
Красные туфли мои…
Тебе не вернуться вновь…

Когда Мольн подошел к своему стоящему на отлете жилищу, кто-то быстро сбежал вниз по лестнице, толкнул его в темноте, сказал: «Прощайте, сударь!» — и, кутаясь в свою накидку, словно его пробирал холод, исчез. Это был Франц де Гале.

Свеча, которую Франц оставил в своей комнате, еще горела. Всюду был такой же порядок. Только на столе на видном месте, лежал листок почтовой бумаги. На нем было написано:

«Моя невеста скрылась; она просила мне передать, что не может быть моей женой, что она

швея, а не принцесса. Я не знаю, что делать. Я ухожу. Мне больше не хочется жить. Пусть Ивонна простит мне, что я не попрощался с ней, но она ничем не могла бы мне помочь…»

Свеча догорела до конца, язычок пламени заморгал, затрепетал и погас. Мольн вернулся в свою комнату и закрыл дверь. Несмотря на темноту, он узнавал каждый из предметов, которые сам аккуратно расставил по местам совсем недавно, когда в комнате было еще светло, а на сердце радостно. Вещь за вещью собрал он свой жалкий старый костюм, начиная с тяжелых башмаков и кончая грубым поясом с медной пряжкой. Быстро, но в какой-то рассеянности он разделся и оделся снова, сложил на стуле праздничный костюм. Тогда-то он перепутал жилеты…

Под окном, на каретном дворе, поднялась возня. Люди кричали, тянули и толкали повозки, каждый хотел поскорее вытащить свою из общей кучи, в которой все безнадежно перемешалось. Время от времени то один, то другой возница влезал на козлы экипажа, на брезентовый верх двуколки и поводил вокруг фонарем. Свет ударил в окно, на миг вокруг Мольна, в комнате, ставшей для него такой привычной, снова все оживало… Он вышел и прикрыл за собой дверь — так он

покинул таинственное место, куда ему, видно, не суждено больше вернуться.

Глава семнадцатая
СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК
(Окончание)

Была уже темная ночь, когда вереница повозок медленно покатила к деревянной ограде. Человек, завернувшийся в козью шкуру, шел впереди с фонарем в руке и вел под уздцы лошадь первой упряжки.

Мольн торопился сесть в чей-нибудь экипаж. Он торопился уехать. В глубине души он опасался, что окажется один в усадьбе и обман его будет раскрыт.

Когда он подошел к главному зданию, возницы кончали размещать поклажу в последних повозках. Прикидывая, как лучше расположить сиденья, они высаживали пассажиров, и девушки, закутанные в платки, с трудом поднимались со своих мест, одеяла и шали падали к их ногам, видны были встревоженные лица тех, кто наклонял голову в сторону фонарей.

В одной из повозок Мольн увидел молодого крестьянина, который недавно предлагал подвезти его.

— Можно мне с вами? — крикнул ему Мольн.

— Тебе куда ехать, паренек? — ответил тот, не узнавая Мольна.

— В сторону Сент-Агата.

— Тогда спроси Маритена, может, у него найдется место.

И юноша стал искать среди задержавшихся путешественников этого неведомого Маритена. Наконец ему сказали, что Маритен на кухне — поет песни в компании пьяниц.

— Это гуляка, — сказали Мольну. — Он тут до трех часов засидится.

И Мольн вдруг представил себе, что охваченная тревогой и горем девушка будет до глубокой ночи слышать, как разносится по усадьбе песни пьяных крестьян. В какой комнате она живет? Где, в каком из этих таинственных строений ее окно? Но нет, задерживаться бессмысленно. Нужно ехать. Когда он вернется в Сент-Агат, все станет проще: он уже не будет беглым школьником, он снова сможет думать о юной хозяйке замка.

Повозки отъезжали одна за другой, колеса скрипели по песку широкой аллеи. Видно было, как экипажи поворачивают и исчезают в ночи, увозя закутанных женщин и дремлющих детей в шалях и платках. Вот проехала большая двуколка,

за ней шарабан, битком набитый женщинами, а Мольн все стоял в замешательстве на пороге дома. И вот уже осталась во дворе одна только старая дорожная берлина, на козлах которой сидел крестьянин в блузе.

— Можете садиться, — ответил он на объяснения Огюстена, — мы едем в этом же направлении.

Мольн с большим трудом открыл дверцу колымаги — задрожали стекла, скрипнули петли. В углу кареты, на скамейке, спали двое малышей, мальчик и девочка. От шума и от холода они проснулись, открыли сонные глаза, забились, дрожа, поглубже в угол и снова заснули…

Старая карета тронулась. Мольн, стараясь не шуметь, закрыл дверцу, осторожно пристроился в другом углу и, приникнув к окну, стал жадно всматриваться в ночной мрак, пытаясь запомнить дорогу и места, которые он покидал. Несмотря на темноту, он угадывал, что карета пересекла двор и сад, проехала мимо лестницы, которая вела в его комнату, миновала ворота и, оставив усадьбу позади, углубилась в лес. Смутно чернея в темноте, вдоль оконного стекла пробегали стволы старых елок.

«Может быть, мы встретим Франца де Гале», —

подумал Мольн, и сердце его забилось сильнее.

Вдруг карета резко свернула в сторону, объезжая препятствие, неожиданно возникшее перед ней на узкой дороге. Насколько можно было угадать в ночной тьме, это был, судя по форме и внушительным размерам, большой фургон, брошенный чуть ли не на самой середине дороги; должно быть, он стоял здесь, неподалеку от усадьбы, с самого начала праздника.

Фургон остался позади, лошади опять пошли рысью, Мольн продолжал устало смотреть в окно, тщетно стараясь хоть что-нибудь разглядеть в окружающем мраке, как вдруг в глубине леса блеснула яркая вспышка и раздался выстрел. Лошади помчались галопом, и Мольн сначала не мог понять, пытается ли кучер в блузе их удержать, или, наоборот, нахлестывает все сильнее. Мольн хотел отворить дверцу. Ручка была снаружи, и после безуспешных попыток опустить стекло он стал трясти его… Дети проснулись и молча, в страхе жались друг к дружке. Приблизив лицо к самому стеклу, Мольн продолжал толкать дверцу и вдруг на повороте дороги увидел бегущую белую фигуру. Это был высокий Пьеро с праздника, бродяга в маскарадном костюме, он бежал, как безумный, прижимая к груди непо-

движное человеческое тело. Потом все исчезло.

Карета мчалась галопом в ночи, дети снова уснули. С кем поделиться, кому рассказать о таинственных событиях этих двух дней? Юноша еще долго перебирал в памяти все, что довелось ему увидеть и услышать, пока наконец, побежденный усталостью, с тяжелым сердцем, словно опечаленный ребенок, тоже не погрузился в сон…

…Было еще темно, карета стояла посреди дороги, когда Мольна разбудил чей-то стук по стеклу. Возница с трудом открыл дверцу, холодный ночной ветер пронизал юношу до костей.

— Вам нужно выйти здесь, — крикнул возница. — Светает. Сейчас мы свернем на проселок. А вам отсюда уже недалеко до Сент-Агата.

Полусогнувшись, Мольн машинальным движением шарил вокруг в поисках фуражки, которая закатилась в самый дальний и темный угол кареты, под ноги спящих детей, потом, наклоняя голову, он вылез на дорогу.

— Ну, до свиданья, — сказал человек, снова взбираясь на козлы. — Вам осталось не больше шести километров. Глядите, вон там, на обочине, — дорожный знак.

Засыпая на ходу, наклонившись вперед, тяжелым шагом Мольн дошел до столба с указателем

и опустился на землю, уронив голову на руки, словно собирался опять заснуть.

— Э, нет! — закричал возница. — Здесь спать нельзя. Вы замерзнете. Ну, ну, вставайте, разомнитесь немножко!..

Шатаясь как пьяный, засунув руки в карманы и втянув голову в плечи, Мольн зашагал по дороге на Сент-Агат, а старая колымага — этот последний свидетель загадочного праздника — свернула с посыпанной гравием дороги и, бесшумно покачиваясь, поехала по заросшему травой проселку. Скоро она скрылась из глаз, и только шапка возницы прыгала еще вдали над кольями изгороди…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая
БОЛЬШАЯ ИГРА

Сильные ветры и холода, непрерывные дожди и снегопады, невозможность во время учебного года затевать сколько-нибудь длительные поиски — все это вынуждало нас с Мольном дожидаться конца зимы, и мы с ним даже не заговаривали о Затерянном Поместье. Разве можно было предпринять что-нибудь серьезное в эти короткие февральские дни, в эти четверги,[2] пронизанные яростными порывами ветра и неизменно, часам к пяти вечера, завершавшиеся холодным дождем.

Ничто не напоминало нам о приключении Мольна, если не считать того странного факта, что со дня его возвращения у нас не стало больше друзей. Те же игры, что и прежде, затевались во время перемен, но Жасмен не разговаривал теперь с Большим Мольном. По вечерам, лишь только заканчивалась уборка класса, двор сразу пустел, как во времена моего одиночества, и я видел, как мой товарищ неприкаянно бродит между садом и навесом, между двором и столовой.

---

[2] Примечания: 2
По четвергам во французских школах не было занятий.

По четвергам мы с Мольном устраивались с утра за учительскими столами в классных комнатах и читали Руссо и Поля-Луи Курье, которых мы отыскали в стенных шкафах, между учебниками английского языка и переписанными от руки нотами. После обеда, спасаясь от очередного визита соседей, мы ускользали из гостиной и опять возвращались в школу… Иногда мы слышали, как группы старших учеников словно случайно останавливаются у школьной ограды, играя в какие-то таинственные военные игры, колотят в ворота, а потом уходят восвояси… Такая тусклая жизнь продолжалась до конца февраля. Я начинал уже думать, что Мольн обо всем забыл, но одно происшествие, еще более странное, чем все остальные, доказало мне, что я ошибаюсь и под хмурой пеленой этих зимних будней назревает бурный конфликт.

Однажды вечером, в самом конце месяца, как раз в четверг, и дошла до нас первая весть о загадочном Поместье — первая волна, вызванная приключением, о котором мы с Мольном давно уже перестали говорить. В доме еще никто не ложился. Дедушка с бабушкой уехали, с нами оставались только Милли и отец, которые, конечно, и не подозревали о глухой вражде, раз-

делившей класс на два лагеря.

В восемь часов Милли открыла дверь, чтобы выбросить во двор оставшиеся после ужина крошки, и вдруг вскрикнула с таким удивлением, что мы все быстро подошли к двери. На пороге лежал слой снега… Было совсем темно, и я сделал несколько шагов по двору, чтобы посмотреть, глубок ли снег. Я чувствовал легкое прикосновение снежных хлопьев, тут же таявших на моем лице. Но мне приказали сейчас же вернуться в дом, и Милли, зябко поводя плечами, закрыла дверь.

В девять часов мы собирались ложиться; мать взяла уже в руку лампу, чтобы подняться наверх, как вдруг мы отчетливо услышали два сильных удара в ворота на противоположном конце двора. Милли снова поставила лампу на стол, и мы все, застыв посреди комнаты, стали напряженно прислушиваться.

Нечего было и думать о том, чтобы выйти наружу, взглянуть, что происходит. Лампа погасла бы раньше, чем мы успели бы пройти половину двора, и стекло наверняка бы разбилось. Несколько секунд стояла полная тишина, и мой отец уже начал было говорить, что «это, несомненно…» — но тут под самым окном столовой, которое, как я уже упоминал, выходило на дорогу к Ла-Гару,

раздался свист, такой резкий и протяжный, что он, наверное, донесся до соборной улицы. И сразу же за окном послышались пронзительные крики, чуть приглушенные стеклами:

— Тащите его сюда! Тащите его!

Кричавшие, вероятно, подтянулись на руках к самому окну, ухватившись за наружные выступы наличника. В ответ с другого конца здания раздались такие же вопли; очевидно, другая группа нападавших, пройдя полем папаши Мартена, перелезла через невысокую стену, отделявшую поле от нашего двора.

Потом истошные крики: «Тащите его!» — повторяемые хором в восемь-десять незнакомых, очевидно, нарочно измененных голосов, стали раздаваться то в одном, то в другом месте: то на крыше погреба, на которую, должно быть, они влезли по груде хвороста, наваленной у наружной стены, то на округлой перемычке, которая соединяла навес с воротами и на которой было удобно усесться верхом, то на решетчатой ограде со стороны лагарской дороги — на нее тоже нетрудно было забраться… Наконец еще одна запоздалая группа появилась в саду и исполнила ту же самую сарабанду, только на этот раз они вопили:

— На абордаж!

Эхо их криков гулко отдавалось в пустых классах, в которых они распахнули окна.

Мы с Мольном так хорошо знали все углы и закоулки нашего большого дома, что очень ясно, как на чертеже, представляли себе все места, через которые могли нас атаковать эти незнакомцы.

Говоря по правде, мы испугались только в первый миг. Когда прозвучал свист, мы все четверо одновременно подумали, что на нас напали бродяги или цыгане. И в самом деле, уже недели две как на площади, позади церкви, поставил свой фургон долговязый детина подозрительного вида и с ним другой, помоложе, с забинтованной головой. А у кузнецов и тележных мастеров прибавилось много подручных, пришедших из чужих мест.

Но как только нападавшие стали кричать, мы тут же убедились, что имеем дело с жителями городка, и, скорее всего, с местной молодежью. Больше того, в толпе, которая бросилась на штурм нашего дома, как пираты на абордаж корабля, наверняка были и мальчишки — мы сразу узнали в общем хоре их пронзительные голоса.

— Ну вот, только этого недоставало! — вскри-

чал мой отец.

А Милли спросила вполголоса:

— Но что же все это значит?

Тут голоса у ворот и у решетки внезапно замолкли, потом так же внезапно стих шум под окнами. У самого дома кто-то дважды свистнул. Крики тех, кто вскарабкался на погреб, и тех, кто наседал со стороны сада, стали затихать, потом совсем прекратились; мы услышали, как вся толпа поспешно обратилась в бегство и пронеслась вдоль стены нашей столовой, глубокий снег приглушал их топот.

Было очевидно, что кто-то их спугнул. Они рассчитывали, что в этот поздний час, когда все спит, им удастся безо всяких помех совершить нападение на наш дом, одиноко стоящий на самой окраине городка. Но кто-то нарушил этот план военных действий.

Едва мы успели прийти в себя — атака была проведена внезапно, по всем правилам военного искусства! — и только собрались выйти во двор, как за калиткой послышался знакомый голос, повторявший:

— Господин Сэрель! Господин Сэрель!

Это был г-н Паскье, мясник. Толстый маленький человечек обтер на пороге свои сабо, отряхнул

запорошенную снегом короткую блузу и вошел. У него был лукавый и вместе с тем растерянный вид человека, которому только что удалось проникнуть в самую суть какого-то весьма загадочного дела.

— Выхожу я во двор, — знаете, со стороны площади Четырех дорог, — собираюсь в хлев козлят запереть и вдруг вижу: стоят на снегу два больших парня — стоят будто на часах или подкарауливают кого. Возле креста стоят. Подхожу я поближе. Не успел сделать и двух шагов — хлоп! — оба срываются с места и скачут галопом прямо к вашему дому. Ах, вот оно что! Я ни минуты не раздумывал, взял свой фонарь и сказал себе: «Пойду все расскажу господину Сэрелю!..»

И он опять начинает с самого начала: «Выхожу я на свой задний двор...» Тут ему предлагают рюмочку наливки, он не отказывается, и у него начинают выспрашивать подробности, которых он не знает.

Он ничего не заметил, когда подходил к дому. Нападающие, предупрежденные об опасности двумя часовыми, тотчас разбежались. Что касается того, кто же эти часовые...

— Может, это те бродяги, — высказывает он предположение. — Вот уже почти месяц, как они

торчат на площади, — всё ждут хорошей погоды, чтоб сыграть свою комедию. И, уж конечно, не прочь устроить какую-нибудь пакость.

Все это ни на шаг не продвинуло нас вперед; в полнейшем недоумении стояли мы вокруг г-на Паскье, который смаковал наливку и, жестикулируя, снова и снова рассказывал нам свою историю. Тогда Мольн, до сих пор внимательно слушавший, поднял с пола фонарь мясника и сказал решительным тоном:

— Нужно пойти посмотреть!

Он открыл дверь и вышел; мы — г-н Сэрель, г-н Паскье и я — двинулись за ним следом.

Милли уже успокоилась, потому что нападавшие убежали, к тому же она, как все педантичные и уважающие порядок люди, не отличалась любопытством; она заявила:

— Идите, если вам так хочется. Только заприте дверь и возьмите с собой ключ. А я иду спать. Лампу я тушить не буду.

Глава вторая
МЫ ПОПАДАЕМ В ЗАСАДУ

В полнейшей тишине шли мы по снегу. Мольн шагал впереди, от его защищенного сеткой фонаря во все стороны веером расходились лучи… Едва мы вышли за ворота, как из-за городских общественных воров, стоявших у самого нашего забора, выскочили, словно спугнутые куропатки, два каких-то субъекта в капюшонах. На бегу они выкрикнули несколько слов, прерываемых смехом, — я так и не понял, звучала ли в их словах насмешка, или азарт затеянной им странной игры, или просто нервное возбуждение и боязнь, что их могут догнать.

Мольн, опустил свой фонарь на снег и крикнул мне:

— Франсуа, не отставай!..

Оставив позади своих спутников, — возраст не позволял им участвовать в подобных забегах, — мы с Мольном кинулись вдогонку за двумя тенями, которые, пробежав немного по дороге на Вьей-Планш, обогнули нижнюю часть городка и стали подниматься по улице, ведущей к церкви.

Они бежали размеренно, неторопливой трусцой, и мы без особого труда двигались в том же темпе. Они пересекли соборную улицу, погруженную в сон, и, обогнув кладбище, углубились в лабиринт переулков и тупиков.

Этот квартал, где жили поденные рабочие, швеи и ткачи, носил название Закоулков. Мы довольно плохо знали эти места и никогда не заглядывали сюда ночью. Здесь и днем-то бывало не слишком людно, — поденщики уходили на работу, ткачи запирались в своих мастерских, — но сейчас среди мертвой ночной тишины Закоулки казались совсем заброшенными и пустынными. Тут было еще более тихо, чем в других кварталах городка. И нам не приходилось рассчитывать на чью-либо помощь.

Среди всех этих домишек, разбросанных как попало, словно карточные коробочки, я знал только одну дорогу — ту, что вела к дому швеи по прозвищу Немая. Сначала надо было спуститься по довольно крутому склону, местами вымощенному каменными плитами, потом, после двух-трех поворотов, пройдя между маленькими двориками ткачей и заброшенными конюшнями, вы попадали в широкий тупик, который упирался в забор давно пустовавшей фермы. Я приходил к

Немой вместе с моей матерью, и, пока они вели на пальцах молчаливую беседу, прерывавшуюся иногда только короткими выкриками несчастной калеки, я смотрел в окно на высокие стены фермы, последней постройки с этой стороны предместья, на запертые ворота и на пустой двор, где не было видно даже охапки соломы и куда с давних пор никто не заходил…

Именно по этой дороге и побежали двое незнакомцев. При каждом повороте мы боялись потерять их из виду, но, к моему удивлению, мы всякий раз добегали до следующего угла, прежде чем они успевали скрыться за ним. Я говорю «к моему удивлению», потому что все эти улочки были короткие и мы бы давно потеряли беглецов, если бы они каждый раз нарочно не замедляли шаги.

Наконец они уверенно повернули на улицу, которая вела к дому Немой, и я крикнул Мольну:

— Ну, теперь они у нас в руках: это тупик!

Говоря по правде, это мы были у них в руках… Они завели нас туда, куда им было нужно. Добежав до стены, оба решительно повернулись к нам лицом, и один из них засвистал тем самым свистом, который мы уже дважды слышали в этот вечер.

И сразу же с десяток парней выскочили на улицу из двора заброшенной фермы, где они видно, все это время поджидали нас. Все были в капюшонах и скрывали свои лица под шарфами…

Мы и раньше догадывались, кто это, но твердо решили ничего не говорить г-ну Сэрелю, потому что наши дела его не касались. Здесь были Делюш, Дени, Жирода и вся остальная компания. Завязалась драка, и мы сразу узнали их по ухваткам и отрывистым выкрикам. Но я видел, что Мольна тревожило и чуть ли не пугало другое: здесь находился человек, нам незнакомый, — он-то, судя по всему, и был вожаком этой банды…

Он не трогал моего товарища, он только смотрел на своих дерущихся солдат, которым приходилось довольно туго, — топчась в снегу, они остервенело бросались на тяжело дышавшего Мольна, и одежда на многих из них уже висела клочьями. Двое занялись мною лишь с большим трудом одолели меня, потому что я отбивался как черт. Они крепко держали меня сзади за руки, а я стоял на коленях в снегу и со жгучим любопытством, к которому примешивался страх, смотрел на поле битвы.

Вот Мольн отделался от четырех молодцов из нашей школы, вцепившихся было в его блузу: он

круто повернулся и со всего размаха отшвырнул их в снег… А незнакомец продолжал невозмутимо стоять на месте и с интересом, но совершенно спокойно наблюдать за сражением, время от времени отчетливо повторяя:

— Так… Смелее… Ну-ка, еще разок… Go on, my boys…[3] Было очевидно, что он здесь главарь… Но откуда он взялся? Как удалось ему втянуть их в драку? Все это пока оставалось для нас загадкой. Как и остальные, он прятал лицо в шарф, но когда Мольн, освободившись от своих противников, шагнул к нему с угрожающим видом, незнакомец, завидев опасность и желая лучше разглядеть обстановку, сделал резкое движение, и мы увидели полоску белой материи, которой была перевязана его голова. В этот момент я крикнул Мольну:

— Берегись! Сзади еще один!

Но не успел он обернуться, как из-за забора, к которому Мольн стоял спиной, выскочил, точно вырос из-под земли, длинный детина и, ловко накинув шарф на шею моего друга, опрокинул его навзничь. Тотчас четверо противников Мольна, которых он только что швырнул носом в снег,

---

[3] Примечания: 3
А ну-ка, мальчики (англ.).

снова накинулись на него, скрутили ему руки веревкой, а ноги шарфом, и молодой главарь с перевязанной головой стал обыскивать его карманы… Незнакомец, подоспевший последним и заарканивший Мольна, зажег маленькую свечу, защищая ее ладонью от ветра, и главарь, извлекая из кармана пленника бумаги, осматривал каждую из них при свете этого огарка. Наконец он развернул ту самую испещренную пометками самодельную карту, над которой трудился Мольн со дня своего возвращения, и радостно закричал:

— На этот раз попался! Вот он, план! Вот он, путеводитель! Теперь мы посмотрим, в самом ли деле этот господин побывал там, где я думаю…

Его приспешник задул свечу. Подобрав со снега кто шапку, кто ремень, все исчезли в темноте так же бесшумно, как и появились. Я торопливо развязал своего товарища.

— Он не далеко уйдет по этому плану, — сказал Мольн, поднимаясь с земли.

И мы пошли медленным шагом, потому что Мольн немного прихрамывал. Недалеко от церкви нам повстречались г-н Сэрель и папаша Паскье.

— Вы кого-нибудь видели? — спросили они. — И мы никого…

Благодаря темноте они ничего не заметили. Мясник ушел, г-н Сэрель тоже заторопился домой спать.

А мы с Мольном, вернувшись в нашу комнату, долго еще сидели при свете лампы, которую оставила нам Милли, кое-как чинили наши разодранные куртки и, точно двое товарищей по оружию вечером после проигранного боя, тихо обсуждали странное происшествие…

Глава третья
БРОДЯГА В ШКОЛЕ

На следующее утро мы с трудом подняли головы с подушек. В школу мы прибежали в последнюю минуту и в половине десятого, когда г-н Сэрель уже подал знак идти в класс, запыхавшись, стали в строй. Из-за опоздания нам пришлось занять первые попавшиеся места, хотя обычно Большой Мольн становился первым в это длинной веренице нагруженных книгами, тетрадями и ручками школьников, которым г-н Сэрель устраивал придирчивый осмотр.

Меня удивила молчаливая поспешность, с какой нам освободили место в самой середине рядов. И пока г-н Сэрель, задерживая на несколько секунд начало уроков, осматривал книги и тетради Большого Мольна, я стал с любопытством вертеть головой направо и налево, чтобы разглядеть лица наших вчерашних врагов.

Первым, кого я заметил, был как раз тот, о ком я не переставал думать и кого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Он стоял на обычном месте Мольна впереди всех, поставив ногу на камен-

ную ступеньку крыльца, прислонившись плечом с висевшей на спине сумкой к дверному косяку. Его тонкое, очень бледное, чуть тронутое веснушками лицо было обращено к нам и выражало любопытство, смешанное с легким презрением. Голова его и часть лица были перевязаны полотняным бинтом. Я узнал главаря шайки, молодого бродягу, обокравшего нас прошлой ночью.

Но вот мы вошли в класс и расселись по своим местам. Новый ученик сел возле столба, на левый край длинной скамьи, на которой первым справа был Мольн. Жирода, Делюш и трое других учеников, сидевших на этой скамейке, потеснились, освобождая новичку место, словно они обо всем договорились заранее.

Бывало и прежде, что зимою к нам ненадолго забредали случайные ученики: лодочники, застрявшие в канале из-за неожиданных морозов, бродячие подмастерья, путешественники, которых задержал в пути снегопад. Они оставались в школе два-три дня, иногда месяц, редко больше… В течение первого часа они привлекали к себе общее любопытство, но очень скоро их переставали замечать, и они растворялись в толпе обыкновенных учеников.

Но этот новичок был не из тех, кого легко можно

забыть. Я до сих пор ясно вижу это удивительное существо и все необычайные сокровища, принесенные им в сумке за спиной. Прежде всего это оказались ручки «с видами», которые он достал, чтобы писать диктант. В них были крохотные глазки, заглянув в которые можно было увидеть довольно тусклое и грубо выполненное изображение базилики Лурда или какого-нибудь другого, неизвестного нам здания. Он выбрал себе одну из этих ручек, а остальные тут же пошли гулять по классу. Потом на свет появился китайский пенал с циркулем и другими занятными инструментами, которые тоже пошли вдоль левой скамьи, скрытно переходя из рук в руки, тихо скользя под партами, прячась от глаз г-на Сэреля.

За ними последовали книги, совсем новые, знакомые мне лишь по названиям, которые я с таким вожделением читал на обороте обложек книг нашей небогатой библиотеки: «Земля дроздов», «Скала чаек», «Мой друг Бенуа»… Положив на колени эти неизвестно где добытые, может быть, просто украденные тома, школьники перелистывали их одной рукой, ухитряясь одновременно писать диктант. Другие вертели циркулями внутри парт. Третьи, улучив момент, когда г-н Сэрель, шагая от кафедры к окну и продолжая диктовать,

поворачивался к классу спиной, закрывали один глаз, а другим пытались разглядеть сине-зеленый, покрытый трещинами Собор Парижской богоматери. А странный ученик, с пером в руке, выделяясь своим тонким профилем на фоне серого столба, весело подмигивал, довольный всей этой завязавшейся вокруг него тайной игрой.

Однако понемногу класс забеспокоился. Передававшиеся по рукам предметы доходили один за другим до Большого Мольна, который, не глядя, с видом полного пренебрежения, складывал их возле себя. Скоро рядом с ним выросла целая куча симметрично разложенных разноцветных вещей, точно у ног женщины, представляющей на аллегорических картинках Науку. Господин Сэрель неизбежно увидит эту необычную выставку и заметит возню под партами. Впрочем, он наверняка учинит допрос о событиях минувшей ночи. Присутствие бродяги только поможет добраться до истины…

И действительно, г-н Сэрель скоро остановился в удивлении перед Большим Мальном.

— Кому все это принадлежит? — спросил он, указывая на «все это» корешком книги, в которой он заложил указательным пальцем нужную страницу.

— Понятия не имею, — ответил Мольн угрюмым тоном, не поднимая головы.

Но тут вмешался новичок.

— Это мое, — сказал он.

И добавил с широким и изящным жестом молодого вельможи, перед которым не смогло устоять сердце старого учителя:

— Но если вы хотите посмотреть, сударь, я предоставлю их в ваше полное распоряжение.

Тогда в одну секунду, бесшумно, точно боясь нарушить новые отношения, только что возникшие на наших глазах, весь класс с любопытством сгрудился вокруг учителя, склонившего над этими сокровищами свою курчавую лысеющую голову, и вокруг молодого бледного незнакомца, который спокойно, с торжествующим видом давал необходимые разъяснения. А Большой Мольн в полном одиночестве молча сидел на своей скамье, хмурил брови и, уставясь в черновую тетрадь, решал какую-то трудную задачу…

За этим занятием и застигла нас «четвертушка часа». Диктант так и не был закончен, в классе царил беспорядок. Честно говоря, перемена длилась с самого утра.

Когда в половине одиннадцатого ученики высыпали на мрачный и грязный двор, быстро

обнаружилось, что играми верховодит новый вожак.

Из всех развлечений, которые бродяга в то утро ввел в наш обиход, мне запомнилось только одно, самое буйное и кровавое — своего рода рыцарский турнир, в котором лошадьми были старшие ученики, а всадниками — младшие, вскарабкавшиеся к ним на плечи. Разделившись на две группы, двигаясь с противоположных концов двора, они набрасывались друг на друга и старались сильным ударом свалить противника на землю; используя свои шарфы как лассо и вытянув вперед руки, как копья, всадники выбивали друг друга из седла. Иногда, стремясь избежать удара, всадник терял равновесие, шлепался в грязь и оказывался под копытами своего коня. Иным из наездников, наполовину выбитым из седла, удавалось, вцепившись в ноги своей лошади, снова взобраться на нее верхом. Усевшись на плечи долговязого Делажа, у которого были непомерной длины руки и ноги, рыжие волосы и оттопыренные уши, стройный всадник с забинтованной головой подзадоривал обе воюющие армии и с громким хохотом ловко управлял своим конем.

Засунув руки в карманы, Огюстен поначалу

хмуро смотрел с крыльца на игру. Я в нерешительности стоял рядом с ним.

— Ну и хитрец, — процедил он сквозь зубы. — Сразу же, с утра, прийти прямо сюда — ведь это единственный способ остаться вне подозрений. И г-н Сэрель попался на его удочку!

Он довольно долго стоял так, подставив ветру свою стриженую голову и что-то бурча по адресу фигляра, который заставил этих парней избивать друг друга — парней, чьим предводителем еще так недавно был он, Мольн. И я, вообще ненавидевший всякие драки, был полностью согласен со своим товарищем.

А во всех углах двора, пользуясь отсутствием учителя, школьники продолжали сражение. Самые маленькие тоже стали влезать верхом друг на друга, они носились по двору и, не дожидаясь удара противника, летели кубарем на землю… Скоро все сплелось в один яростно крутящийся клубок, в котором время от времени мелькала белая повязка нового вожака.

И тут Большой Мольн не выдержал. Он нагнул голову, уперся руками в бедра и крикнул мне:

— Пошли, Франсуа!

Это внезапное решение застигло меня врасплох, но я, не колеблясь, вскочил ему на плечи;

через секунду мы были уже в самой гуще схватки, а большинство бойцов в растерянности удирали, крича:

— Вот он, Мольн! Большой Мольн! Окруженный немногочисленной группой тех, кто не захотел выбывать из игры, Мольн завертелся волчком, говоря мне:

— Вытяни руки! Хватай их, как я вчера ночью!.. Опьяненный битвой, уверенный в победе, я хватал мальчишек направо и налево, а они отбивались, тщетно пытались удержаться на плечах старших учеников и летели в грязь. В одно мгновение все были сбиты с ног, и только новичок продолжал держаться верхом на Делаже. Но тому, видно, совсем не улыбалось вступать в драку с Огюстеном, он резко выпрямился и заставил бледного всадника спрыгнуть на землю.

Положив руку на плечо Делажа, словно военачальник, который держит в поводу своего коня, юноша в белой повязке посмотрел на Большого Мольна с некоторой опаской и с откровенным восхищением.

— Ну и здорово! — сказал он.

Но тут прозвенел звонок, и школьники, которые собрались вокруг нас в предвкушении интересной сцены, побежали в класс. Мольн,

досадуя, что не смог сбросить своего врага на землю, повернулся к нему спиной и зло сказал:

— Отложим до следующего раза!

В этот день занятия проходили так, словно назавтра должны были начаться каникулы: уроки до самого полудня прерывались оживленными беседами, и юный бродячий актер находился в центре общего внимания.

Он объяснял, что, застигнутые холодами, они вынуждены были остановиться на городской площади и что устраивать вечерние представления не имело никакого смысла: все равно здесь никто бы на них не пришел; что он решил пока посещать школу, чтобы как-нибудь заполнить день, а его спутник в это время будет занят своими попугаями и дрессированной козой. Потом он рассказывал, как они путешествовали по окрестным местам, как худая цинковая крыша фургона протекала во время дождей и как им то и дело приходилось, соскочив на дорогу, толкать фургон в гору. Ученики на задних партах вставали с мест и подходили поближе, чтобы послушать его рассказ. Те, кто был равнодушен к подобной романтике, использовали эти минуты, чтобы погреться у печки. Но даже их в конце концов разбирало любопытство, и они приближались

на шаг к шумной группе, прислушиваясь, но не отнимая руки от печки, чтобы не потерять своего места.

— А на какие средства вы живете? — спросил г-н Сэрель, который слушал все это со свойственным ему почти детским любопытством и задавал множество вопросов.

Юноша ответил не сразу, точно ему до сих пор не приходилось задумываться над такими мелочами.

— Я думаю, на те деньги, которые мы заработали минувшей осенью. Хозяйством у нас занимается Ганаш.

Никто не спросил у него, кто такой Ганаш. Но я вспомнил про длинного верзилу, который вчера вечером предательски напал на Мольна сзади и повалил его в снег.

Глава четвертая
В КОТОРОЙ ИДЕТ РЕЧЬ О ЗАГАДОЧНОМ ПОМЕСТЬЕ

После обеда уроки по-прежнему состояли из одних развлечений, и в классе царил все тот же беспорядок, все та же неразбериха. Бродяга принес с собой еще целую кучу драгоценных предметов, раковин, новых игр, песенок — и даже маленькую обезьянку, которая глухо скреблась внутри его сумки… Господину Сэрелю чуть ли не каждую минуту приходилось прерывать свой объяснения, чтобы взглянуть, что еще вытащил на свет божий из своего мешка этот хитрец. К четырем часам только один Мольн выполнил все задания.

Никто особенно не спешил уходить из класса. На этот раз словно стерлась та четкая грань между часами уроков и переменами, которая делает школьную жизнь такой же размеренной и простой, как смена дня и ночи. Мы даже забыли, что, по установившейся традиции, без десяти минут четыре нам нужно назвать г-ну Сэрелю имена двух дежурных, которые останутся после

уроков для уборки класса. До сих пор мы никогда не пропускали этого маленького ритуала, который был для нас способом поторопить учителя, напомнить ему, что урок подходит к концу.

Случилось так, что в этот день дежурить должен был Большой Мольн, и еще утром в разговоре с бродягой я предупредил его, что вторым дежурным всегда назначается у нас новичок.

Мольн только перехватил кусок хлеба и сразу же вернулся в класс. Что касается бродяги, то он заставил себя довольно долго ждать и прибежал лишь тогда, когда уже начинало темнеть…

— Ты останешься в классе, — сказал мне мой товарищ, — я его буду держать, а ты отнимешь у него план, который он украл у меня.

Я сел с книжкой в руках на маленький стол возле окна, пытаясь читать при последних отблесках угасавшего дня, а они молча передвигали парты — Большой Мольн, хмурый, с непроницаемым выражением лица, в черной блузе, застегнутой сзади на три пуговицы и перетянутой ремнем, и бродячий актер, хрупкий, нервный, с перевязанной головой, похожий на раненого солдата. Он был в старом пальто, разорванном во многих местах, — мне показалось, что днем этих дыр не было. Охваченный каким-то диким рвением, он

с бешеной стремительностью приподнимал и толкал столы и при этом чуть заметно улыбался. Можно было подумать, что он играет в какую-то необыкновенную игру, суть которой понятна ему одному.

Постепенно они добрались до самого темного угла класса, чтобы передвинуть последний стол.

Здесь бы Мольну и повалить своего противника, и ни одна живая душа ничего не увидела бы в окно, никто ничего не услыхал бы с улицы. Я не понимал, почему Мольн упускает такую прекрасную возможность. Ведь, вернувшись к двери, бродяга под тем предлогом, что работа закончена, в любую минуту сможет удрать, и мы больше его не увидим. И тогда план и все сведения, которые Мольн отыскивал, сопоставлял, собирал так долго и с таким трудом, — все будет для нас бесповоротно потеряно…

Каждую секунду я ждал от своего друга знака, движения, которые объявили бы мне о начале битвы, но Мольн хранил невозмутимое спокойствие. Лишь время от времени он бросал пристальные вопросительные взгляды на повязку бродяги, которая в сумраке надвигавшейся ночи казалась покрытой крупными черными пятнами.

Вот и последняя парта поставлена на место, а между Мольном и бродягой так ничего и не произошло.

Но в тот самый момент, когда оба они подошли к дверям, чтобы напоследок подмести пол у самого порога, Мольн, опустив голову и не глядя на нашего врага, проговорил вполголоса:

— У вас вся повязка в крови и одежда разорвана. Актер взглянул на него, не столько удивленный, сколько глубоко тронутый его словами.

— Они пытались, — ответил он, — отнять у меня ваш план — только что, здесь, за площадью. Когда они узнали, что я хочу вернуться сюда убирать класс, они поняли, что я собираюсь заключить с вами мир. И они взбунтовались. Но я все равно его спас, — добавил он с гордостью, протягивая Мольну сложенный драгоценный листок.

Мольн медленно обернулся ко мне.

— Ты слышал? — сказал он. — Он дрался за нас, его ранили, а мы-то с тобой готовили ему здесь ловушку!

Потом, переходя на привычное для школьников «ты», он сказал:

— Ты настоящий товарищ, — и протянул ему руку. Актер схватил ее и секунду стоял молча, в сильном волнении, словно не в силах произ-

нести ни слова… Но тут же заговорил с живым любопытством:

— Так, значит, вы готовили мне ловушку? Вот забавно! Я догадался об этом и подумал: и удивятся же они, когда отнимут у меня этот план и увидят, что я дополнил его!

— Дополнил?

— О, не спешите радоваться… Дополнил не до конца… Внезапно он оставил свой игривый тон и, подойдя к нам вплотную, сказал медленно и серьезно:

— Мольн, теперь я могу вам сказать, я тоже был там, где побывали вы. Я присутствовал на этом необыкновенном празднике. Когда школьники рассказали мне о вашем таинственном приключении, я сразу подумал, что речь идет о Затерянном Поместье. Чтобы убедиться в этом, я выкрал у вас карту… Но я, так же как и вы, не знаю, как называется этот замок, я не смог бы туда вернуться, — я не знаю до конца дорогу, которая туда ведет.

С каким волнением, с каким страстным любопытством, с каким чувством дружбы слушали мы его! Мольн жадно забрасывал его вопросами… Нам казалось, что, если мы будем горячо настаивать, наш новый друг сможет рассказать даже то,

чего он, по его словам, сам не знает…

— Вы увидите, вы увидите, — отвечал юноша с легкой досадой и смущением, — я внес в ваш план несколько указаний, которых вам не хватало… Это все, что я мог сделать.

Потом, видя, что мы полны восхищения и энтузиазма, он сказал с грустью и гордостью:

— О, я должен вас предупредить: я не похож на моих сверстников… Три месяца тому назад я хотел пустить себе пулю в лоб. Вот откуда эта повязка на голове, как у ополченца семидесятого года…

— И сегодня вечером, во время драки, рана открылась… — сказал Мольн с участием.

Но тот, не обращая внимания на слова Мольна, продолжал слегка напыщенным тоном:

— Я хотел умереть. И поскольку мне это не удалось, я продолжаю теперь жить только ради забавы, как ребенок, как бродяга. Я все покинул. У меня нет больше ни отца, ни сестры, ни дома, ни любви… Никого, кроме товарищей по играм!

— Эти товарищи уже успели вас предать, — сказал я.

— Да, — ответил он с живостью. — Но в этом виноват небезызвестный Делюш. Он догадался, что я собираюсь действовать заодно с вами. Вся

банда была у меня в руках, а он ее развалил. Вы видели, как была организована, как прошла вчерашняя атака! Это, пожалуй, моя самая большая удача за последние годы…

Он задумался на миг и добавил, словно желая окончательно рассеять наши заблуждения на свой счет:

— Я пришел сейчас к вам потому, что с вами иметь дело гораздо интереснее, чем со всей этой шайкой, я еще утром в этом убедился. Противнее всех — Делюш. Что за глупость — в семнадцать лет корчить из себя взрослого мужчину! Это в нем особенно мерзко. Но он еще попадется к нам в руки, как вы думаете?

— Конечно, — сказал Мольн. — А вы еще долго у нас пробудете?

— Я и сам не знаю. Мне бы хотелось остаться подольше. Я страшно одинок. У меня никого нет, кроме Ганаша…

От его возбужденного, шутливого тона не осталось и следа. На какой-то момент он, видимо, погрузился в то беспросветное отчаянье, какое однажды уже привело его к попытке самоубийства.

— Будьте моими друзьями, — проговорил он внезапно. — Видите: я знал вашу тайну и отстоял

ее от всех. Я могу навести вас на след, который вы потеряли…

И добавил почти торжественно:

— Будьте же моими друзьями в тот день, когда я снова окажусь на краю преисподней, как это со мной уже однажды случилось… Поклянитесь мне, что вы откликнитесь, когда я вас позову… когда я вас позову вот так (и он испустил странный крик, что-то вроде: «Уу-у»). Вы, Мольн, клянитесь первым!

И мы поклялись, — мы были еще детьми, и все то, что казалось нам торжественным и значительным, особенно привлекало нас.

— Взамен я могу вам сказать пока только одно: я укажу вам дом в Париже, где девушка из замка обычно проводит праздники — пасху и троицын день, а кроме того, весь июнь и иногда часть зимы.

В эту минуту в ночной тишине раздался незнакомый голос, кто-то несколько раз прокричал возле ворот. Мы поняли, что это Ганаш, бродяга, который не решался войти во двор или просто не знал, как это сделать. Голосом настойчивым и тревожным он кричал на разные лады, то очень громко, то совсем тихо:

— Уу-у! Уу-у!

— Говорите! Говорите скорей! — крикнул Мольн молодому бродяге, который вздрогнул и стал поправлять на себе одежду, собираясь уходить.

Юноша быстро назвал нам парижский адрес, и мы вполголоса повторили его. Потом, оставив нас в необычайном волнении, он убежал в темноту к поджидавшему его у ворот товарищу.

Глава пятая
ЧЕЛОВЕК В ВЕРЕВОЧНЫХ ТУФЛЯХ

В ту же ночь, около трех часов, вдова Делюш, хозяйка постоялого двора, находившегося в центре городка, поднялась, чтобы затопить печь. Ее шурин Дюма, живший в ее доме, намеревался уехать по своим делам в четыре часа утра, и бедная женщина, у которой правая рука была изуродована давним ожогом, металась по темной кухне, торопясь приготовить кофе. Было холодно. Она накинула поверх своей кофты старый платок, потом, держа в одной руке зажженную свечу, а другой, увечной рукой, приподняв фартук, чтобы защитить пламя от ветра, пересекла двор, заваленный пустыми бутылками и ящиками из-под мыла, и открыла дверь дровяного сарая, служившего одновременно курятником, собираясь набрать щепок для растопки. Но не успела она распахнуть дверь, как кто-то выскочил из темной глубины сарая, сильным ударом фуражки, со свистом рассекшей воздух, погасил свечу, сбил добрую женщину с ног и бросился бежать под невероятный шум, поднятый перепуганными

курами и петухами.

В своем мешке человек унес, — вдова обнаружила это несколько позже, когда пришла в себя, — добрую дюжину отборных цыплят.

На крики невестки прибежал Дюма. Он установил, что негодяй, чтобы проникнуть во двор, отпер отмычкой висевший на воротах замок и удрал тем же путем, не закрыв за собою ворот. Как человек, привыкший иметь дело с браконьерами и ворами. Дюма тотчас зажег фонарь своей повозки и, держа его в одной руке, в другую схватив ружье, побежал по следам грабителя, следам очень неясным, — очевидно, тот был обут в веревочные туфли: след привел Дюма к дороге на Ла-Гар и тут затерялся возле ограды какого-то луга. Вынужденный на этом прекратить свои поиски, он поднял голову, остановился… и услышал вдалеке, на дороге, шум упряжки, пущенной во весь опор и удалявшейся от него.

Сын вдовы, Жасмен Делюш, тоже встал и, торопливо накинув на плечи плащ с капюшоном, вышел в комнатных туфлях из дому, чтобы осмотреть окружающие улицы. Все спало вокруг, все было погружено в тот полный мрак, в то глубокое молчание, которые предшествуют первым лучам рассвета. Дойдя до площади Четырех дорог, он,

как и его дядя, услышал где-то очень далеко, в стороне Риодского холма, шум телеги и бешенный галоп лошади. Парень хитрый и хвастливый, он рассказывал нам потом, невыносимо картавя на манер жителей пригородов Монлюсона:

— Я рассудил так: что же, может, эти-то и удрали к Ла-Гару, но кто сказал, что я не накрою других, если пошарю с другого края городка?

И он пошел по направлению к церкви, окруженный все той же ночной тишиной. В фургоне бродячих актеров на площади горел свет. Наверно, кто-то заболел. Делюш собирался подойти поближе и узнать, в чем дело, но в это время бесшумная тень, тень, — обутая в плетеные туфли, выскользнула со стороны Закоулков и, не замечая Делюша, бегом направилась к фургону…

Жасмен, сразу узнавший Ганаша, внезапно вступил в полосу света и спросил вполголоса:

— Ну! Что случилось?

Тот остановился и, растерянный, взлохмаченный, беззубый, ответил тяжело дыша и с жалкой гримасой, выражавшей изнеможение и испуг:

— Мой товарищ заболел… Подрался вчера вечером, и у него опять открылась старая рана… Я ходил за сестрой.

И верно, когда Жасмен Делюш, так и не удо-

влетворив своего любопытства, возвращался домой спать, навстречу ему попалась монахиня, спешившая в сторону площади.

Наутро многие жители Сент-Агата показались на порогах своих домов с распухшими от бессонной ночи глазами и измученными лицами. Слухи распространились с быстротой молнии, и городок охватило всеобщее негодование.

Оказалось, что возле дома Жирода часов около двух ночи остановилась двуколка; слышно было, как ее торопливо нагружали какими-то мешками, мягко падавшими друг на друга. В доме были только две женщины, в страхе они не смели пошевелиться. Когда рассвело, они поняли, заглянув на птичий двор, что это были не мешки, а кролики и домашняя птица…

Во время первой перемены Милли нашла у дверей прачечной множество полуобгоревших спичек. Вероятно, воры не знали расположения нашего дома и не смогли в него войти… У Перре, у Бужардона и у Клемана недосчитались свиней; сначала решили, что их тоже украли, но потом обнаружилось, что свиньи разбрелись по соседним огородам, где мирно уничтожают салат и прочую зелень. Видимо, они воспользовались случаем и через раскрытые ворота отправились на ночную

прогулку… Почти у всех была украдена домашняя птица, но на этом потери и кончались. Правда, госпожа Пиньо, булочница, которая не держала кур, весь день кричала, что у нее украли валек для стирки белья и фунт синьки, но этот факт так и остался недоказанным и в протокол внесен не был…

Пересуды продолжались все утро; жители были растеряны и напуганы. В школе Жасмен рассказал о своем ночном приключении.

— Да, это ловкачи, — сказал он. — Но если моему дяде попадется хоть один из них, уж будьте уверены, он его подстрелит, как кролика! И, глядя на нас, добавил:

— Счастье еще, что Дюма не встретил Ганаша: с дяди сталось бы и выстрелить в него. Все они одного поля ягоды, говорит он, и Десень точно так же считает.

Однако никому и в голову не пришло в чем-то подозревать наших новых друзей. Лишь на другой день к вечеру Жасмен обратил внимание своего дяди на то, что Ганаш, как и вор, был обут в плетеные туфли. Они решили, что не мешало бы рассказать об этом в полиции, и под большим секретом договорились в первый же день отправиться в главный город кантона, чтобы

предупредить жандармского начальника.

В следующие дни молодой бродяга, у которого болела раскрывшаяся рана, не появлялся у нас.

Вечерами мы шли на церковную площадь и бродили вокруг фургона, глядя на свет лампы, горевшей за красной занавеской. Полные тревоги и возбуждения, мы стояли на площади, не смея приблизиться к жалкой хижине на колесах, казавшейся нам таинственным мостиком, преддверием страны, в которую мы не знали дороги.

Глава шестая
СПОР ЗА КУЛИСАМИ

За всеми треволнениями этих дней мы не заметили, как наступил март и подули теплые ветры. Но на третий день после этих событий, выйдя утром на школьный двор, я вдруг понял, что пришла весна. Над стеной, окружавшей двор, струился ласковый, как нагретая вода, ветерок; бесшумный дождь омыл ночью листья пионов; в саду от свежеперекопанной земли исходил сильный запах, а на дереве, у самого окна, пробовала голос какая-то птица…

На первой же перемене Мольн завел разговор о том, что надо поскорее проверить, правилен ли маршрут, в который наш новый приятель внес свои уточнения. Мне стоило большого труда убедить Мольна подождать, пока мы не повидаемся еще раз с юным актером, пока окончательно не установится хорошая погода… пока в Сент-Агате не зацветут сливовые деревья. Мы стояли, прислонившись к низкой садовой ограде, выходившей в переулок, стояли без шапок, заложив руки в карманы, и ветер то заставлял нас вздра-

гивать от холода, то, вдруг обдавая теплом, будил в нас неясное ощущение глубокого, ни с чем не сравнимого восторга. О мой брат, товарищ и спутник, как мы были тогда уверены, что счастье совсем рядом, стоит лишь отправиться в путь — и оно в наших руках!

В половине первого, во время обеда, мы услышали, как на площади Четырех дорог загрохотал барабан. Через секунду мы уже стояли у калитки, с салфетками в руках. Это Ганаш объявлял, что в восемь часов, «в случае хорошей погоды», на площади возле церкви состоится большое представление. На всякий случай, «чтобы уберечь публику от дождя», будет установлен навес. Далее следовал длинный перечень всевозможных аттракционов, и, хотя ветер доносил до нас далеко не все слова Ганаша, мы разобрали, что речь шла о «пантомимах… песнях… конных состязаниях»; каждый пункт программы подчеркивался грохотом барабана.

Вечером, когда мы ужинали, огромный барабан, возвещавший начало представления, загремел под самыми нашими окнами, задрожали стекла. И скоро под жужжание разговоров к церковной площади потянулись небольшими группками жители предместий. А мы с Мольном,

вынужденные оставаться за обеденным столом, стучали ногами от нетерпения.

Наконец около девяти часов возле калитки послышалось шарканье ног, приглушенный смех, — за нами пришли учительницы. В полной темноте мы гурьбой направились к месту спектакля. Еще издали мы увидели, что стена церкви освещена, словно рядом развели большой костер. У входа в балаган на ветру колыхались два зажженных кенкета…

Внутри, как в цирке, были расставлены амфитеатром скамьи. Господин Сэрель, учительницы и мы с Мольном уселись на лавки в самом низу. У меня и сейчас перед глазами этот зрительный зал, очень тесный, похожий на настоящий цирк, с большими темными полотнищами вместо стен, битком набитый публикой, среди которой виднеются булочница госпожа Пиньо, бакалейщица Фернанда, девушки из городка, кузнецы, дамы, мальчишки, крестьяне и много всякого прочего люда.

Уже прошло больше половины представления. На арене выступала дрессированная козочка; она послушно ставила ноги сначала на четыре стакана, потом — на два, потом — на один-единственный стакан. Ганаш тихонько отдавал ей

приказания, чуть прикасаясь к ней палочкой и тревожно поглядывая на зрителей; рот его был полуоткрыт, глаза казались безжизненными.

Рядом с двумя другими кенкетами, освещавшими цирк изнутри, в той стороне, где арена сообщалась с фургоном, сидел на табуретке одетый в тонкое черное трико наш друг; он был здесь за главного. Его голову стягивала повязка.

Едва мы успели усесться, как на арену выскочил пони в красивой сбруе, и раненый юноша заставил его проделать несколько кругов; когда от пони требовалось указать, кто из сидящих в зале всех любезней или храбрее, он всякий раз останавливался возле меня или Мольна; но если нужно было отыскать самую лживую, самую скупую или самую влюбленную особу, пони непременно замирал возле госпожи Пиньо. И вокруг нее поднимался смех, крик, гогот, как в стаде гусей, за которыми гонится спаниель…

Во время антракта наш приятель подошел к г-ну Сэрелю и заговорил с ним; окажись перед ним сам Тальма или Леотар, г-н Сэрель вряд ли испытал бы большую гордость… Мы с Мольном старались ни словечка не пропустить из этого разговора; циркач говорил, что его рана опять закрылась, что этот спектакль они готовили очень

долго, в течение всей зимы, что они уедут от нас не раньше конца месяца, потому что рассчитывают дать здесь еще много новых разнообразных представлений.

Спектакль должен был закончиться большой пантомимой.

К концу перерыва наш друг отошел от нас; чтобы добраться до входа в фургон, ему пришлось пройти мимо группы зрителей, заполнивших арену, среди которых мы вдруг заметили Жасмена Делюша. Женщины и девушки расступились, чтобы дать актеру пройти. Они были в восхищении от его черного костюма, от повязки на лбу, от всего его необычного и мужественного вида. Что касается Жасмена, который, казалось, только что вернулся из какой-то дальней поездки и тихо, но взволнованно о чем-то говорил с госпожою Пиньо, то его, очевидно, больше пленили бы широченные брюки, витой кушак и распахнутый ворот… Он стоял, заложив большие пальцы за отвороты своего пиджака, и вся его фигура выражала одновременно замешательство и развязность. В тот самый миг, когда актер проходил мимо, Делюш весь передернулся и с досадой сказал громким голосом госпоже Пиньо что-то такое, чего я не расслышал, но что явно было оскорб-

лением в адрес нашего друга. Должно быть, эти слова содержали угрозу, тяжкую и неожиданную, потому что юноша резко обернулся и взглянул на Делюша, а тот, стараясь скрыть свое смущение, ухмылялся и подталкивал локтем соседей, словно приглашая их принять его сторону… Все произошло очень быстро, в две-три секунды, и никто из сидевших со мной рядом, должно быть, ничего не заметил.

Актер прошел к своему товарищу за полог, закрывавший вход в фургон. Зрители вернулись на свои места, ожидая начала второго отделения, в цирке устанавливалась тишина. И тогда, под утихавший шумок последних фраз, которыми еще обменивался вполголоса кое-кто из публики, за занавесом разгорелся бурный спор. Мы не разбирали слов, слышно было только, что спорят двое — долговязый детина и молодой актер; первый что-то объяснял и оправдывался, второй с возмущением и горечью распекал его.

— Несчастный! Почему же ты раньше не сказал мне об этом!.. — вскричал молодой человек.

Дальнейшего мы не разобрали, хотя все вокруг молча прислушивались. Внезапно за кулисами стало тихо: видимо, споривше перешли на шепот. Мальчишки в задних рядах принялись

кричать: «Фонари! Занавес!» — и топать ногами.

Глава седьмая
БРОДЯГА СНИМАЕТ ПОВЯЗКУ

Наконец из-за занавеса медленно выплыло лицо — изборожденное морщинами, с вытаращенными глазами, выражавшими не то радость, не то печаль, все усеянное облатками для запечатывания писем, — и показалась длинная нескладная фигура Пьеро: скрючившись, словно у него болел живот, он шел на цыпочках, всем своим видом выражая крайний испуг, и непомерно длинные рукава его, свисая до самого пола, волочились по арене.

Я не смог бы сейчас восстановить в памяти содержание этой пантомимы. Я только помню, что, несмотря на все свои тщетные и отчаянные попытки удержаться на ногах, он упал. Напрасно старался он подняться на ноги — это было сильнее его, он падал. Падал непрестанно. Он спотыкался сразу о четыре стула. Падая, он увлекал за собой огромный стол, который перед тем внесли на арену. В конце концов он растянулся во весь рост, перевалившись через барьер, и улегся почти у ног зрителей. Два помощника, которых с трудом

удалось завербовать среди публики, потащили его за ноги и ценой невероятных усилий придали ему вертикальное положение. При каждом новом падении он коротко вскрикивал, всякий раз меняя тон, и в его невыносимых выкриках смешивались отчаянье и радость. Под конец, взобравшись на гору наваленных друг на друга стульев, он совершил с огромной высоты ужасающе долгое падение, и, пока он летел оттуда, в зале непрерывно звучал его пронзительный, жалкий и вместе с тем торжествующий вопль, сливаясь с испуганными возгласами женщин.

Во второй части пантомимы «бедный падающий Пьеро» вытащил из своего рукава маленькую куклу, набитую отрубями, и разыграл с нею целую трагикомическую сцену. В конце концов он заставил куклу выплюнуть изо рта все отруби, которыми был начинен ее живот. Потом, жалобно вскрикивая, стал наполнять ее жидкой кашей, и в момент, когда зрители, затаив дыханье и разинув рты, пялили глаза на липкую и раздутую дочку бедного Пьеро, он вдруг схватил ее за руку и со всего размаху швырнул через головы публики прямо в лицо Жасмену Делюшу; кукла задела его за ухо и плюхнулась в живот госпожи Пиньо, предварительно проехавшись по

ее подбородку. Булочница завопила истошным голосом, откинулась резким движением назад, все ее соседи сделали то же самое, лавка под ними подломилась, и булочница, вместе с Фернандой, с безутешной вдовой Делюш и добрыми двумя десятками других зрителей, рухнула на пол, задрав вверх ноги, под всеобщие крики, смех и аплодисменты, а долговязый клоун, лежавший ничком на земле, поднялся и с поклоном провозгласил:

— Дамы и господа, имеем честь поблагодарить вас за внимание!

Тогда-то среди оглушительного гомона Большой Мольн, который с самого начала пантомимы не проронил ни слова и, казалось, следил за ней со все усиливавшимся интересом, вдруг вскочил с места, схватил меня за руку и, словно не в силах больше сдерживаться, воскликнул:

— Взгляни на бродягу! Взгляни! Наконец-то я его узнал!

И, не успев поднять глаз, я уже догадался, в чем дело, словно эта мысль давно таилась во мне и только ожидала своего часа, чтобы вырваться наружу. Под кенкетом, у самого входа в балаган, стоял юный незнакомец — без повязки на лбу, в наброшенной на плечи пелерине. В неясном мерцании лампы, как в свое время при свете огарка,

озарявшего комнату в Поместье, вырисовывался тонкий орлиный профиль его безусого лица. Бледный, с полуоткрытым ртом, он торопливо перелистывал маленький красный альбом, должно быть карманный атлас. Точно таким описывал мне Большой Мольн жениха из таинственного замка, и только шрам, пересекавший висок и исчезавший в густой шевелюре, дополнял теперь его портрет.

Было ясно, что он снял повязку намеренно, желая, чтобы мы узнали его. Но не успел Большой Мольн вскочить с места и вскрикнуть, как юноша бросил на нас заговорщический взгляд, улыбнулся своей немного грустной улыбкой и вернулся в фургон.

— А другой-то! — возбужденно проговорил Мольн. — Как же я с самого начала не узнал его! Ведь это Пьеро, который был на том празднике…

И Мольн стал пробираться между скамьями, направляясь к Ганашу. Но тот уже убрал подмостки, соединявшие арену с залом, один за другим погасил все четыре кенкета, освещавшие цирк, и нам пришлось, нетерпеливо топая в темноте ногами, пробираться к выходу вместе с толпой зрителей, которая двигалась очень медленно между параллельными рядами лавок.

Оказавшись наконец снаружи, Большой Мольн кинулся к фургону, вскочил на подножку и постучал в дверь, но дверь была заперта. Видно, и в фургоне с занавесками на окнах, и в повозке, где помещались пони, коза и дрессированные птицы, все уже расположились на ночлег.

Глава восьмая
ЖАНДАРМЫ!

Мы побежали догонять группу мужчин и женщин, возвращавшихся темными улицами к школьному зданию.

Теперь нам стало все понятно. Та высокая белая фигура, которую Мольн увидел из окна кареты в последний вечер праздника, — это был не кто иной, как Ганаш; он подобрал в лесу отчаявшегося жениха и бежал вместе с ним. Франц примирился с кочевым образом жизни, полным опасности, игр и приключений. Ему казалось, что снова вернулась к нему пора его детства.

До сих пор Франц де Гале скрывал от нас свое имя и притворялся, что не знает дороги в Поместье; видимо, он боялся, что его заставят вернуться в родительский дом. Но тогда почему в этот вечер он вдруг решил перед нами открыться, дал нам возможность его узнать и угадать всю правду?..

Каких только планов не строил Большой Мольн, пока толпа зрителей медленно растекалась по городку! Он решил, что завтра с утра — это

будет четверг — он отыщет Франца. И они вдвоем отправятся туда, в замок! Ах, какой славный путь предстоит им по размытой дороге!.. Франц все объяснит, все уладится, и чудесное приключение возобновится на том самом месте, где оно было прервано…

Я шагал в темноте, и сердце мое билось от несказанного волнения. Все смешивалось в этом ощущении счастья: и легкое удовольствие от предвкушения четверга, и радость удивительного открытия, которое мы только что сделали; я радовался большой удаче, выпавшей на нашу долю. И, помнится, в неожиданном порыве великодушия я подошел к самой уродливой из дочерей нотариуса, с которой меня иногда заставляли идти под руку, что было для меня сущей пыткой, и по собственному почину протянул ей руку…

Горькие воспоминания! Тщетные, обманутые надежды!..

На другой день, когда мы с Мольном, оба в начищенных до блеска башмаках, в новых фуражках, с ярко сверкавшими пряжками на ремнях, вышли около восьми часов утра на церковную площадь, Мольн, который до этой минуты, поглядывая на меня, с трудом сдерживал счастливую улыбку, вдруг вскрикнул и кинулся бежать… На том

месте, где еще вчера стояли балаган и повозки, валялись теперь лишь тряпки и черепки. Комедианты уехали…

Ветерок сразу стал ледяным. Мы шли по площади, и мне казалось, что мы вот-вот зацепимся ногами за булыжники мостовой и упадем. Мольн, словно обезумев, раза два порывался побежать то по дороге на Вье-Нансей, то по дороге на Сен-Лу-де-Буа. Он прикладывал ладонь козырьком ко лбу, он надеялся, что наши знакомцы еще не успели далеко уехать. Куда там! На площади перепутались следы десятка разных повозок, а дальше, на мерзлой почве, и вовсе ничего нельзя было разобрать. Нам по-прежнему оставалось только ждать и бездействовать.

А когда мы шли домой через озаренный утренним солнцем городок, на площадь галопом выехало четверо верховых жандармов, которых накануне вечером вызвал Делюш; словно драгуны, посланные в разведку, рассыпались они по четырем улицам, перекрывая все выезды. Но похититель цыплят Ганаш и его спутник успели удрать. Жандармы не нашли ни его, ни тех незнакомцев, которые грузили в повозки придушенных Ганашем каплунов. Вовремя предупрежденный неосторожными словами

Жасмена, Франц, должно быть, внезапно понял, каким ремеслом добывал для них обоих пропитание его приятель, когда касса бродячего цирка пустовала; охваченный стыдом и яростью, он тут же решил прекратить дальнейшие представления и скрыться, прежде чем прибудут жандармы. И уже не боясь, что его попытаются вернуть в отцовский замок, он захотел на прощанье предстать перед нами без повязки.

Только одно оставалось для нас неясным: каким образом Ганаш умудрился одновременно и очистить курятники, и разыскать сестру милосердия для своего лежавшего в горячке друга? А может быть, именно в этом и раскрывался весь характер этого бедолаги? С одной стороны, бродяга и вор, с другой — доброе и отзывчивое существо…

Глава девятая
В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННОЙ ТРОПИНКИ

Когда мы возвращались домой, солнце уже разогнало легкую утреннюю дымку, на порогах домов хозяйки выбивали ковры или болтали друг с другом, в полях и рощах, окружавших городок, занималось весеннее утро, самое лучезарное из всех, что сохранились в моей памяти.

В этот четверг все старшие ученики должны были явиться к восьми часам в школу и до полудня готовиться к экзаменам — кто на аттестат об окончании курса, кто для поступления в Нормальную школу.[4] Но когда мы с Мольном — я совершенно подавленный, он в каком-то скорбном возбуждении, не позволявшем ему ни минуты оставаться в неподвижности, — пришли к школе, она оказалась пустой… Яркий солнечный луч скользил по пыльной трухлявой скамье и по старой, потертой карте земных полушарий.

Что же, оставаться здесь, в классе, уставясь в книгу и горько размышляя о нашей неудаче, в то

---

[4] Примечания: 4

Нормальная школа — высшее педагогическое учебное заведение во Франции.

время как все вокруг звало нас на улицу: птицы возились в ветвях у самых окон, и наши товарищи разбежались по лугам и лесам, а нам самим не терпелось поскорее проверить, насколько правилен дополненный Францем маршрут — последняя наша надежда, последний ключ в связке, где все остальные ключи уже перепробованы?.. Нет, сидеть в школе было выше наших сил… Мольн мерил шагами класс, подходил к окнам, смотрел в сад, потом снова подходил и глядел в сторону городка, словно без всякой надежды поджидая кого-то, кто наверняка уже не появится.

— Мне пришло в голову, — сказал он наконец, — мне пришло в голову, что это совсем не так далеко, как нам кажется… Франц вычеркнул из моего плана большой кусок дороги, который я там наметил. Вполне может быть, что, пока я спал, кобыла сделала большой лишний крюк…

Я сидел, опустив голову, на углу длинного стола, одной ногой упираясь в пол, другой болтая в воздухе, и весь мой вид выражал, должно быть, растерянность и уныние.

— И все-таки, — сказал я, — когда ты возвращался домой в берлине, поездка длилась всю ночь.

— Мы выехали ровно в полночь, — ответил он живо. — Меня высадили в четыре часа утра, ки-

лометрах в шести на запад от Сент-Агата, а ведь я отправлялся отсюда по восточной лагарской дороге. Значит, высчитывая расстояние между Сен-Агатом и Затерянным Поместьем, эти шесть километров надо скинуть. Право же, мне сдается, что от того места, где кончается Общинный лес, и до замка, который мы ищем, должно быть не больше двух лье.

— Как раз этих-то двух лье и не хватает на карте.

— Верно. Но опушка Общинного леса — в полутора милях отсюда, и, если идти хорошим шагом, можно обернуться за одно утро…

В это время в класс вошел Мушбеф. Ему всегда страшно хотелось, чтобы его считали хорошим учеником, но достичь этого он старался больше фискальством, чем усиленными занятиями.

— Я так и знал, — провозгласил он с торжествующим видом, — что застану здесь только вас двоих. Остальные отправились в Общинный лес. Ведет Жасмен Делюш, он знает, где птичьи гнезда.

Играя в благонравного мальчика, он принялся рассказывать, какими словами ругали они школу, г-на Сэреля и нас с Мольном, отправляясь в эту экспедицию.

— Если они в лесу, я их наверняка встречу по дороге, — сказал Мольн, — потому что я тоже ухожу. Вернусь к половине первого.

Мушбеф так и застыл с разинутым ртом.

— А ты не пойдешь со мной? — спросил меня Огюстен, задержавшись на миг в дверях. В хмурую комнату ворвалась струя согретого солнцем воздуха и с ней — сумятица криков, голосов, птичьего щебета, звон ведра, ударившегося о закраину колодца, и щелканье кнута вдалеке.

— Нет, — сказал я, несмотря на то что искушение было велико, — я не могу. Из-за господина Сэреля… Но торопись. Я буду ждать тебя с нетерпением…

Он сделал неопределенный жест и быстро вышел, полный новых надежд.

К десяти часам пришел г-н Сэрель, сменивший черный альпаговый сюртук на плащ рыболова с большими карманами на пуговицах; он был в соломенной шляпе и коротких лакированных крагах, стягивавших низ брюк. Я думаю, он нисколько не удивился, не застав в классе ни души. Он не стал слушать Мушбефа, в третий раз принимавшегося повторять слова, сказанные перед уходом учениками: «Если мы ему нужны, пусть сам приходит за нами!» Он только скомандовал:

— Живо собирайтесь, берите свои фуражки, и эти разорители гнезд скоро сами попадутся нам в руки, как птенчики… Франсуа, ты сможешь идти так далеко?

Я сказал, что смогу, и мы отправились.

Было решено, что Мушбеф поведет г-на Сэреля и послужит для нас своего рода манком. Зная, в каком направлении пошли разорители гнезд, он должен был время от времени кричать во все горло:

— Эй! Эге-гей! Жирода, Делюш! Где вы?.. Нашли что-нибудь?..

Что касается меня, то мне, к моему огромному удовольствию, было поручено идти вдоль восточной опушки леса — на тот случай, если беглецы попытаются ускользнуть с этой стороны.

Ведь на нашем плане, выверенном Францем, на плане, который мы с Мольном знали уже чуть ли не наизусть, именно где-то здесь, у лесной опушки, брала начало намеченная пунктиром дорога, ведущая к замку. А вдруг я найду ее в это утро!.. Я уже был почти убежден, что еще до полудня окажусь на дороге к Затерянному Поместью…

Чудесная была прогулка!.. Как только мы прошли Гласи и обогнули Мулен, я расстался со своими спутниками — и с г-ном Сэрелем, у кото-

рого был такой вид, точно он собрался на войну (я даже подозреваю, что он сунул в карман свой старый пистолет), и с этим предателем Мушбефом.

Пройдя по проселочной дороге, я скоро вышел к опушке леса — впервые в жизни один, затерянный среди полей, как солдат, отставший от части.

И вот я в лесу, и мне чудится, что где-то совсем рядом — то таинственное счастье, которое в один прекрасный день так ненадолго мелькнуло перед Мольном. В моем распоряжении целое утро, и я могу шаг за шагом обследовать всю лесную опушку, самый прохладный и укромный уголок в наших краях; а в это время мой старший друг и брат тоже шагает навстречу новым открытиям. Местность напоминает русло высохшего ручья. Я иду под низко свисающими ветками деревьев, названия которых не знаю; должно быть, это ольха. Я только что перескочил через изгородь в конце тропинки, и теперь передо мной — заросшая зеленой травой широкая дорога, которая словно струится под навесом листвы; порой я наступаю на куст крапивы, приминаю ногой высокую валерьяну…

Иногда я делаю несколько шагов по мелкому песку. И в тишине я слышу птицу — мне хочется

думать, что это соловей, но, конечно, я ошибаюсь, ведь соловьи поют только по вечерам, — птицу, которая упрямо повторяет одну фразу, и она звучит для меня как голос утра, как шепот в полутьме, как чудесное приглашение погрузиться в ольховые заросли. Я не вижу птицы, но мне кажется, что она летит следом за мною, скрываясь в листве.

Вот и я — впервые в жизни! — вступаю на путь приключений. Я ищу уже не ракушки на берегу реки под присмотром г-на Сэреля, и не дикие орхидеи, приметы которых неизвестны, пожалуй, и учителю, и даже не тот старый колодец на поле папаши Мартена, глубокий, пересохший, закрытый решеткой колодец, который так густо порос сорняками, что всякий раз нужно основательно потрудиться, прежде чем удается заново его обнаружить… Нет, теперь я ищу нечто гораздо более таинственное. Я ищу путь, о каких пишут в книгах, древнюю, полную препятствий дорогу, которую не сумел отыскать разбитый усталостью принц. Найти ее можно лишь утром, таким вот свободным от всяких дел утром, когда ты давно уже не знаешь, который теперь час… И, раздвигая неуверенным движением рук, поднятых вровень с лицом, покрытые пышной листвою ветви, ты

вдруг обнаружишь перед собой длинную тенистую аллею, которая кончается вдали крохотным кружком света.

Полный надежд и хмельных ожиданий, я выхожу на какую-то поляну; оглядевшись, я вдруг понимаю, что это самый обыкновенный луг. Оказывается, я и сам не заметил, как прошел весь Общинный лес до конца. А я-то всегда думал, что он тянется бесконечно далеко! Вот, справа от меня, за бревенчатым забором, — сторожка, скрытая, как улей, в тени. На подоконнике сушатся две пары чулок… В прошлые годы, входя в лес, мы всегда говорили, показывая на светлую точку в самом конце невероятно длинной темной просеки: «А там — Дом сторожа, дом Баладье». Но мы никогда не доходили до него. Изредка нам приходилось слышать, как кто-нибудь говорил, словно речь шла о единственной в своем роде экспедиции: «Он дошел до самой сторожки!»

И вот я дошел до самой сторожки — и ничего не нашел. У меня разболелась уставшая нога, и жара, которой я до сих пор не чувствовал, теперь давала себя знать; я уже боялся, что мне придется весь обратный путь пройти одному, — как вдруг невдалеке послышалось ауканье Мушбефа, потом другие голоса, окликавшие меня…

Оказалось, что это — шестеро наших школьников; вид у них был довольно унылый, и только изменник Мушбеф торжествовал. Тут были и Жирода, и Оберже, и Делаж. Заманенные Мушбефом, они были схвачены либо когда карабкались на дикую вишню, одиноко стоящую посреди поляны, либо в тот момент, когда опустошали гнезда зеленых дятлов. Болван Жирода, с припухшими глазами, в засаленной блузе, умудрился спрятать гнездо у себя на животе, под рубахой. Двоим удалось улизнуть от г-на Сэреля. Это были Делюш и маленький Коффен. Сначала они наперебой выкрикивали всякие насмешки по адресу «Мушваша»,[5] и эхо повторило их голоса, но Мушбеф, разозлившись и забыв о своей роли, в досаде крикнул в ответ:

— Эй вы! Слезайте, вам некуда деваться: здесь господин Сэрель!..

Тогда вокруг все сразу замолкло, и мальчишки скрылись в чаще леса. А поскольку они знали лес как свои пять пальцев, о погоне нечего было и думать. Неизвестно было также, какой дорогой пошел Большой Мольн. Он не отзывался на наши

---

[5] Примечания: 5

Игра слов: школьники заменили вторую часть фамилии Мушбеф «беф» (бык) словом «ваш» (корова), имея, очевидно, в виду переносное значение слова «корова» — «полицейский», «шпик».

крики, и мы решили прекратить розыски.

Время уже перевалило за полдень, когда мы, усталые, бледные, опустив головы медленно побрели по сент-агатской дороге. Выйдя из лесу на сухое место, мы кое-как соскребли грязь со своих башмаков. Солнце палило нещадно. Весеннее утро, такое ясное и свежее, осталось позади. Новые звуки, предвещавшие близость вечера, наполняли воздух. Время от времени на безлюдных фермах вблизи дороги тоскливо кричал петух. Спускаясь к Гласи, мы ненадолго остановились, чтобы поболтать с батраками, которые только что кончили обедать и снова принимались за работу. Они стояли прислонившись к изгороди, и г-н Сэрель говорил им:

— Полюбуйтесь-ка на этих сорванцов! Рекомендую: вот это Жирода. Он, видите ли, сунул птенчиков к себе за пазуху. Можете себе представить, какую они ему там навели чистоту!..

Батраки смеялись, а мне казалось, что они смеются над моей неудачей. Смеясь, они с укоризной покачивали головами, но я видел, что проделки парней, которых они хорошо знали, не вызывают у них осуждения. Они даже сообщили нам, когда г-н Сэрель снова встал во главе нашей колонны:

— Здесь был еще один из ваших, ну знаете,

такой длинный… Должно быть, на обратном пути ему встретилась повозка из Гранжа и его подвезли. Вот здесь, на развилке, он сошел — оборванный, весь в грязи. Мы ему сказали, что утром видели вас, но что вы еще не возвращались. Он и побрел потихоньку в Сент-Агат.

В самом деле, Большой Мольн, усталый и измученный, поджидал нас в Гласи, сидя на перилах моста. На вопрос г-на Сэреля он ответил, что тоже ходил искать тех, кто удрал в лес. А когда я вполголоса спросил его о наших делах, он только уныло покачал головой. — Нет, ничего. Ничего похожего!

После обеда, вернувшись в пустой и темный, точно отгороженный от всего лучезарного мира, класс, он сел за один из больших столов, опустил голову на руки и погрузился в печальный и тяжкий сон. К вечеру, после долгого раздумья, словно приняв какое-то важное решение, он сел писать письмо своей матери. Вот и все, что осталось у меня в памяти от этого мрачного вечера, завершившего собой день наших больших неудач.

Глава десятая
СТИРКА

Мы слишком рано понадеялись на весну.

В понедельник мы решили сесть за приготовление уроков сразу после четырех часов, как бывало летом, и вытащили во двор, на свет, два больших стола. Но небо сразу вдруг потемнело, на тетрадь упала крупная капля дождя, пришлось поскорей возвращаться в дом. Встав у широких окон большого хмурого класса, мы молча смотрели, как в сером небе мечутся тучи.

И вот Мольн, который, положив руку на оконную задвижку, тоже смотрел на улицу, не выдержал и, словно сердясь на самого себя и на свою тоску, сказал:

— Да, они плыли совсем по-другому, эти тучи, когда я ехал по той дороге в повозке из Бель-Этуаль.

— По какой дороге? — спросил Жасмен.

Но Мольн не ответил.

— А мне больше нравится, — сказал я, чтобы переменить разговор, — ехать вот в такую погоду, под проливным дождем, в экипаже с поднятым

верхом.

— И всю дорогу читать, будто сидишь в комнате, — добавил кто-то.

— В тот раз дождя не было, и мне совсем не хотелось читать, — откликнулся Мольн. — Я только и думал, как бы получше разглядеть места, по которым ехал.

Но когда Жирода спросил, в свою очередь, о каких местах идет речь, Мольн опять промолчал. И Жасмен сказал:

— Я знаю... Опять это знаменитое приключение!..

Он произнес эти слова примирительным тоном, с некоторой многозначительностью, точно и сам уже был немного посвящен в тайну. Но его попытка что-нибудь выведать пропала даром, Мольн не поддержал разговора, и, так как уже становилось совсем темно, все накинули на головы блузы и умчались домой под холодным ливнем.

Дождливая погода стояла до следующего четверга. Да и сам четверг оказался еще печальнее предыдущего. Поля кругом, как в самые унылые дни зимы, были окутаны пеленой ледяного тумана.

На прошлой неделе Милли, обманутая ярким солнцем, затеяла стирку, но теперь, в сырости и

холоде, нечего было и думать о том, чтобы развесить белье на садовой изгороди или на веревках, протянутых на чердаке.

Тогда Милли пришла в голову мысль, что по случаю четверга можно высушить белье в классах, добела раскалив школьную печку. Чтобы зря не жечь дрова и на кухне и в столовой, на той же печке сварят обед, и весь день нам придется провести в большой классной комнате.

Поначалу — как я был тогда зелен и глуп! — мне почудилось в этом даже что-то праздничное.

Мрачный праздник! Всю теплоту, исходившую от печки, забирало белье, и в классе стоял настоящий холод. На дворе нескончаемо и вяло моросил мелкий зимний дождь. И все же именно там я встретил Большого Мольна, когда, не зная куда деваться от скуки, я вышел во двор часов в девять утра. Мы молчали и, прижавшись головами к решетке ворот, смотрели, как движется по городу, через площадь Четырех дорог, похоронная процессия из какой-то дальней деревни. Вот с повозки, запряженной быками, сняли гроб и поставили его на плиту у основания большого креста — того самого, возле которого мясник заметил когда-то выставленных бродягой часовых… Где он сейчас, юный военачальник, который так

ловко провел абордаж?.. Согласно обычаю, кюре вместе с певчими подошел к стоящему на плите гробу, и до нас донеслись печальные песнопения. Мы знали, что ничего, кроме этого зрелища, не мог предложить нам тоскливый день, который будет течь до самого вечера, как мутный дождевой поток в водосточном желобе.

— Ну, я пойду укладывать вещи, — неожиданно сказал Мольн. — Ты, верно, еще не знаешь, Сэрель: в прошлый четверг я написал своей матери, что хочу закончить ученье в Париже. Сегодня я уезжаю.

Он по-прежнему смотрел в сторону города, ухватившись на уровне лица за перекладины решетчатых ворот. Не было нужды спрашивать, что же ответила ему мать, — она была богата и исполняла любое его желание, — видно, она и на этот раз согласилась. Не было нужды спрашивать, почему его так внезапно потянуло в Париж!..

Но я понимал, что ему все же жалко и боязно покидать этот милый край, откуда брало начало его приключение. А я, я не сразу почувствовал, как растет во мне невыносимая скорбь.

— Приближается пасха, — сказал он со вздохом, словно объясняя причину своего отъезда.

— Когда ты там, в Париже, разыщешь ее, ты

мне напишешь? — спросил я.

— Ну, конечно. Ведь ты мой товарищ и брат…

И он положил руку мне на плечо.

Лишь постепенно дошло до меня, что все уже решено бесповоротно: Мольн уезжает заканчивать свои занятия в Париж, и никогда больше не будет рядом со мной моего старшего друга.

Оставалась единственная надежда, что мы когда-нибудь встретимся с ним в том парижском доме, где может вновь обнаружиться затерявшийся след его приключения… Но Мольн выглядел таким печальным, что эта надежда показалась мне слабой и жалкой.

Мои родители были уже предупреждены; господин Сэрель сначала выразил удивление, но довольно быстро согласился с доводами Огюстена; Милли, прежде всего хозяйка в душе, особенно сокрушалась при мысли, что мать Мольна застанет наш дом в таком необычном для него беспорядке… Уложить чемодан оказалось делом, увы, недолгим. Мы вытащили из-под лестницы пару воскресных башмаков Мольна, из шкафа — его белье, потом собрали тетради и учебники — все, что составляет немудреное богатство восемнадцатилетнего юноши.

К полудню в своей коляске приехала госпожа

Мольн. Она позавтракала вдвоем с Огюстеном в кафе Даниэля и, не вдаваясь ни в какие объяснения, увезла его, как только накормили и запрягли лошадь. Мы попрощались с порога, и коляска, проехав по площади Четырех дорог, скрылась за поворотом.

Милли обтерла перед входом свои башмаки и пошла прибрать нетопленную столовую. А я впервые за долгие месяцы остался в одиночестве, не зная, как убить нескончаемый вечер безрадостного четверга. Мне казалось, что эта старая коляска навсегда увезла сейчас мое отрочество.

Глава одиннадцатая
Я ПРЕДАЮ...

Чем заняться?

Погода понемногу прояснялась. Казалось, вот-вот выглянет солнце.

В огромном доме гулко хлопала дверь. И опять тишина. Время от времени отец пересекал двор, чтобы наполнить ведро очередной порцией угля для печки. Когда дверь открывалась, я успевал разглядеть развешанное на веревке белье, и мне так не хотелось возвращаться в эту невеселую комнату, превращенную в сушильню, и снова, один на один с учебниками, готовиться к выпускному экзамену, да еще к этому конкурсу в Нормальную школу, который отныне должен был стать моей единственной заботой!

Но странное дело: к моей тоске, граничившей с отчаяньем, примешивалось неясное ощущение свободы. Я чувствовал, что с отъездом Мольна, с неудачным финалом его похождения я избавился от странных хлопот и таинственных дел, не позволявших мне жить обычно и просто, как все люди. Мольн уехал; я уже не был това-

рищем неугомонного искателя приключений, братом отважного следопыта, я опять становился обыкновенным мальчишкой, таким же, как все остальные мальчишки в городке. Это делало мою жизнь легче и проще; мне оставалось лишь следовать естественным склонностям своей натуры.

На грязной улице показался младший из братьев Руа; он вращал над головой три привязанных к бечевке каштана, потом отпускал бечевку, и она взвивалась в воздух. Вот они упали на школьный двор. Меня охватило вдруг такое ощущение праздности, что я с удовольствием тем же манером раза два-три перебросил ему каштаны через ограду.

Но внезапно Руа прервал эту детскую забаву и бросился бегом догонять Двуколку, которая выехала со стороны Вьей-Планша. Он быстро и ловко вскочил в нее на ходу. Я узнал повозку Делюша и его лошадь. Правил сам Жасмен, рядом с ним стоял толстый Бужардон. Они возвращались с луга.

— Франсуа, поехали с нами! — крикнул Жасмен, который, должно быть, знал уже об отъезде Мольна.

И тогда, не предупредив никого из домашних, я взобрался в тряскую повозку и поехал, как и все

стоя во весь рост и прислонясь к высокому борту. Двуколка повезла нас к дому вдовы Делюш…

И вот мы сидим в комнате за лавкой (добрая женщина не только держит постоялый двор, она еще и бакалейщица). Белый солнечный луч, проникая сквозь низкое окошко, скользит по жестяным ящикам и по бочкам с уксусом. Бужардон уселся на подоконник и, повернувшись к нам лицом, с жирным смехом толстяка поглощает бисквиты. Он берет их из стоящего рядом, на бочке, вскрытого ящика. Маленький Руа вопит от удовольствия. Между нами уже успели установиться дружеские отношения, впрочем довольно дурного пошиба. Я вижу, что теперь моими товарищами станут Жасмен и Бужардон. Моя жизнь в один миг изменила свое направление. Мне кажется, что Мольн уехал уже очень давно, что его приключение — это давняя печальная история, и с нею покончено.

Маленький Руа отыскал под какими-то досками початую бутылку ликера. Делюш предлагает нам выпить по рюмочке, но в лавке нашелся только один стакан, и мы поочередно пьем из него. Мне наливают первому, — в их отношении ко мне чувствуется некоторая снисходительность, как к человеку, не привыкшему к подобным правам

охотников и крестьян… Это немного меня тяготит. И, поскольку разговор заходит о Мольне, меня охватывает желание преодолеть свою скованность, показать, что я посвящен в его историю, рассказать ее. К тому же разве мой рассказ повредит Мольну? Ведь всем его похождениям в Сент-Агате теперь наступил конец.

. . . . . .

Может быть, я плохо рассказываю историю Мольна? Она не производит того впечатления, которого я ожидал.

Как истинные деревенские жители, привыкшие не удивляться ничему на свете, мои товарищи выслушивают рассказ с полной невозмутимостью.

— Свадьба как свадьба, только и всего! — говорит Бужардон.

Делюш как-то видел в Превераже свадьбу позанятней, чем эта.

Замок? В городке наверняка есть люди, которые слыхали о нем.

Девушка? Мольн, как отслужит срок в армии, так женится на ней.

— Он должен был сам рассказать нам об этом, — добавляет кто-то, — и показать нам план, вместо того, чтобы доверяться какому-то бродяге!

Смущенный своей неудачей, я хочу воспользоваться случаем и пробудить у них любопытство: я решаюсь объяснить, кто был этот бродяга, откуда он явился, какова его удивительная судьба… Бужардон и Делюш меня даже не слушают. «Это он во всем виноват. Из-за него Мольн стал нелюдимым — Мольн, который был до того таким славным товарищем! Это он затеял все глупости с абордажами и ночными атаками, это он обращался с нами, как с малыми детьми…»

— Знаешь, — говорит Жасмен, глядя на Бужардона и покачивая головой, — я правильно сделал, что заявил на него жандармам. Он и так натворил здесь дел, а если б не я, натворил бы их еще больше!

Я с ними почти согласен. Несомненно, все обернулось бы совсем по-другому, если бы с самого начала мы не восприняли эту историю в таком драматическом и таинственном свете. И все под влиянием Франца, у которого так страшно сложилась жизнь…

Я целиком ушел в свои мысли, и тут в лавке внезапно послышался шум. Жасмен Делюш мгновенно прячет остатки ликера за бочку, толстяк Бужардон кубарем слетает с подоконника, спотыкается о пустую пыльную бутылку, которая

катится по полу, и с трудом сохраняет равновесие. Маленький Руа, задыхаясь от хохота, отталкивает их обоих от двери, чтобы самому поскорее выбраться наружу.

Не понимая толком, в чем дело, я удираю вместе с ними; перебежав через двор, мы влезаем по лестнице на сеновал. Я слышу женский голос, который честит нас на все корки…

— Я не думал, что она так рано вернется, — шепчет Жасмен.

Только теперь до меня доходит, что в лавку мы пробрались тайком, а печенье с ликером попросту воровали. Я чувствую себя обманутым, как тот потерпевший кораблекрушение путешественник, который считал, что беседует с человеком, — и вдруг обнаруживает, что перед ним обезьяна. Я только и думаю, как бы поскорее убраться с сеновала, — эти проделки мне противны. Тем временем наступает темнота… Меня проводят задами через два чужих сада мимо большой лужи; наконец я на мокрой и грязной улице; на дорогу падают отсветы из кафе Даниэля… Я отнюдь не горжусь тем, как провел этот вечер. Вот и площадь Четырех дорог. И передо мной вдруг невольно возникает суровое и дружеское лицо, оно улыбается мне; последний взмах руки

— и коляска исчезает за поворотом…

Мою блузу раздувает холодный ветер, так похожий на ветер минувшей зимы, трагической и прекрасной. И снова жизнь не кажется мне простой. В большом классе меня ждут с ужином; холодные струи воздуха то и дело врываются в комнату и уносят скудную теплоту, исходящую от печки. Стуча зубами, я выслушиваю упреки за то, что почти целый день пробродяжничал. Мне трудно войти в привычную колею: я лишен даже слабого утешения — сесть на свое обычное место за обеденным столом. В этот вечер мы обходимся без стола, — каждый держит тарелку на коленях и пристраивается где может в полумраке большого класса. Я молча жую испеченную на раскаленной плите лепешку, которая должна, очевидно, служить мне вознаграждением за этот проведенный в школе четверг и которая здорово подгорела…

Наверху, в своей комнате, еще острее ощутив одиночество, я стараюсь поскорее заснуть, чтобы заглушить угрызения совести, которые поднимаются с самого дна моей омраченной души. Среди ночи я дважды просыпаюсь: в первый раз мне слышится скрип соседней кровати, словно на ней спит Мольн, который обычно резким движением

поворачивается во сне на другой бок; во второй раз мне чудится, что он своим легким крадущимся шагом ходит по чердаку…

Глава двенадцатая
ТРИ ПИСЬМА БОЛЬШОГО МОЛЬНА

За всю свою жизнь я получил от Мольна всего три письма. Они и сейчас хранятся у меня в ящике комода. И, перечитывая их, я всякий раз ощущаю прежнюю грусть.

Первое письмо пришло на другой день после того, как он уехал.

«Дорогой Франсуа,

сегодня я приехал в Париж и сразу же пошел к дому, о котором говорил Франц. Я никого не нашел. Дом пуст. Он всегда будет пуст.

Это небольшой двухэтажный особняк. Комната мадмуазель де Гале должна быть наверху. Окна второго этажа больше других затенены деревьями. Но если смотреть с тротуара, они видны довольно хорошо. Все шторы спущены, и только безумец может надеяться, что в один прекрасный день за одной из них появится лицо Ивонны де Гале.

Дом выходит на бульвар… Моросил небольшой дождь, на зазеленевших деревьях блестела листва. Слышались резкие звонки трамваев,

которые непрерывно, один за другим, шли по улице.

Почти два часа я шагал взад и вперед под окнами. Чтобы меня не приняли за грабителя, задумавшего недоброе, я зашел в лавку и выпил стакан вина. Потом снова, без всякой надежды, принялся ходить возле дома.

Наступил вечер. В окнах стали загораться огни — во всех домах, только не в этом. Ясно, что в нем никто не живет. А ведь пасха не за горами.

Я уже собирался уходить; в это время какая-то девушка — или молодая женщина — подошла к дому и села на мокрую от дождя скамейку. Она была в черном платье с маленьким белым воротничком. Когда я уходил, она все еще сидела на своем месте, сидела неподвижно, несмотря на вечернюю прохладу, и ждала — неведомо чего, неведомо кого. Как видишь, в Париже полно безумных, вроде меня.

Огюстен».

Время шло, напрасно ждал я весточки от Огюстена в первый день пасхи; не было писем и в последующие дни, когда пасхальная суматоха сменилась тишиной и спокойствием и, казалось, остается только ждать лета. Наступил июнь, пришла пора экзаменов, а с ней — страшная

жара, которая удушливой пеленой, при полном безветрии, повисла над полями. Даже ночь не приносила свежести, и дневная пытка продолжалась в темноте. Во время этой невыносимой июньской жары я получил второе письмо от Большого Мольна.

Дорогой друг, «Июнь 189… года

теперь уже не осталось никакой надежды. Я это знаю со вчерашнего вечера. С этого времени меня мучает тоска, которой я до того почти не чувствовал.

Каждый день я приходил туда, на ту скамью, и, несмотря ни на что, ждал, караулил, надеялся. Вчера после ужина вечер был особенно удушливым и темным. На тротуаре, под деревьями, переговаривались люди. Над черной листвой, которую свет из окон местами окрашивал в зеленый цвет, горели огни в квартирах третьих и четвертых этажей. То здесь, то там виднелось распахнутое настежь окно… Зажженная на столе лампа отгоняла знойный июньский мрак, и можно было разглядеть самые дальние углы комнаты… О, если бы черное окно Ивонны де Гале вдруг тоже осветилось, наверное, я бы решился подняться по лестнице, постучать, войти…

Девушка, о которой я тебе писал, опять сидела

на прежнем месте, чего-то ожидая, как и я. Я подумал, что она должна знать, кто живет в доме, и спросил ее об этом.

— Я знаю, — ответила она, — что раньше сюда приезжали на каникулы девушка и ее брат. Но мне сказали, будто брат бежал из замка своих родителей неизвестно куда, и никто не может его разыскать, а девушка вышла замуж. Вот почему дом пустует.

Я пошел прочь. Не пройдя и десяти шагов, я споткнулся и едва не упал. Ночью — это было минувшей ночью, — когда во дворах наконец угомонились женщины и дети и я мог бы уснуть, — я стал прислушиваться к шуму фиакров на улице. Они проезжали довольно редко. Но стоило одному затихнуть вдали, как я невольно начинал ждать следующего. И вот — позвякиванье бубенчика, цоканье копыт по асфальту… И все повторяется сначала, и этому нет конца: пустынный город, твоя утраченная любовь, долгая ночь, лето, лихорадка…

Сэрель, друг мой, я в полном отчаянье.

Огюстен».

Как мало смог узнать я из этих писем о делах моего друга! Мольн не объяснял, почему так долго не писал мне; он не сообщал, что собирается

делать дальше. У меня было такое впечатление, что он порывает со мной, как порывал со всем своим прошлым, потому что на приключении его можно было поставить крест. В самом деле, я несколько раз писал ему, но он не ответил. Если не считать нескольких поздравительных слов, которые он черкнул мне, когда я получил аттестат. В сентябре я узнал от одного из школьных товарищей, что Мольн приехал на каникулы к своей матери в Ва-Ферте-д'Анжийон. Но в тот год мой дядя Флорантен пригласил нас провести каникулы у него, во Вье-Нансее. И я так и не смог повидаться с Мольном, который вскоре вернулся в Париж.

В начале учебного года, точнее говоря, в последних числах ноября, когда я с мрачным усердием засел за подготовку к новым экзаменам в надежде добиться на следующий год звания учителя, минуя Нормальную школу в Бурже, я получил еще одно письмо от Огюстена, последнее из трех:

«Я все еще хожу под этим окном, — писал он. — Я все еще жду, безрассудно, без всякой надежды. В холодные воскресные вечера, перед наступлением сумерек я не могу заставить себя вернуться в свою комнату, закрыть ставни, меня тянет еще раз пойти туда, на продрогшую улицу.

Я похож на ту сумасшедшую из Сент-Агата, которая ежеминутно выходила на крыльцо и смотрела из-под ладони в сторону Ла-Гара, не идет ли ее сын, а ведь он давно умер.

Я сижу на скамейке, дрожу от холода и представляю себе, как кто-то сейчас подойдет и тихо возьмет меня за руку… Я обернусь. Это будет она. «Я немного задержалась», — скажет она просто. И сразу исчезнет все горе, все безумие. Мы входим в наш дом. Ее шубка заледенела, вуалетка промокла, она вносит с собой с улицы привкус тумана, она подходит поближе к огню, и я вижу ее белокурые волосы, на которых блестит иней, вижу ее дивный профиль, ее нежное лицо, склоненное над пламенем…

Увы! За стеклом по-прежнему белеет штора. Поняла ли девушка из Затерянного Поместья, что мне теперь больше нечего ей сказать?

Наше приключение окончено. Нынешняя зима мертва, как могила. Может быть, только когда мы умрем, может быть, только смерть даст нам ключ, даст нам продолжение и конец этого несостоявшегося романа?

Сэрель, когда-то я просил тебя думать обо мне. Теперь, напротив, лучше меня забудь. Лучше было бы все забыть.

. . . . . .
О. М.»

И снова наступила зима, мертвая и унылая, так не похожая на прошлую зиму, полную таинственной жизни; на площади больше не было бродячих комедиантов, школьный двор пустел сразу после четырех часов, я оставался в классе один, и ученье не шло мне в голову… В феврале, впервые за эту зиму, выпал снег и окончательно похоронил наши былые романтические приключения, стер последние следы, замел все тропинки. И я старался, как просил меня Мольн, все забыть.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая
КУПАНЬЕ

Курить папиросы, смачивать сахарной водой волосы, чтобы они завивались, обнимать на дороге девушек, учениц дополнительного класса, и, спрятавшись за изгородью, вопить: «Эй, чепцы!» — дразня проходящих мимо монахинь, — все это было любимым занятием местных шалопаев. Впрочем, шалопаи подобного сорта вполне могут исправиться и стать к двадцати годам весьма милыми юношами. Хуже, когда у шалопая лицо, несмотря на молодость, уже успело поблекнуть и приобрести какой-то старообразный вид, когда он занимается сплетнями о женах своих соседей, когда он, чтобы посмешить товарищей, болтает глупости о юной Жильберте Поклен. Но в конце концов, может быть, даже и такой случай не безнадежен…

Именно таков был Жасмен Делюш. По непонятным причинам, но явно без малейшего намерения сдавать экзамены, он продолжал ходить в школу в старший класс, хотя все кругом просто мечтали, чтобы Делюш наконец расстался

с партой. Время от времени он учился ремеслу штукатура у своего дяди Дюма. Так или иначе, но скоро этот самый Делюш, Бужардон и еще один парень по фамилии Дени, — очень славный малый, сын помощника учителя, — оказались единственными моими приятелями из всех учеников старшего класса, и только потому, что они остались «со времен Мольна».

Впрочем, желание дружить со мной было у Делюша вполне искренним. Он, который был когда-то врагом Большого Мольна, хотел теперь занять в школе его место и, вероятно, даже сожалел, что в свое время не был его соратником. Не такой тяжелодум, как Бужардон, Делюш, сдается мне, почувствовал, сколько увлекательного и необычного внес Мольн в нашу жизнь.

И я нередко слышал, как он повторял: «Вот и Большой Мольн это говорил…», или: «А Большой Мольн сказал…»

Кроме того, что Жасмен был старше нас, этот старообразный подросток обладал еще несколькими драгоценными возможностями для развлечений, закреплявшими его превосходство над нами: у него был длинношерстный белый пес неведомой породы, отзывавшийся на нелепую кличку «Бекали», приносивший обратно

камешки, как бы далеко вы их ни закинули, и не проявлявший наклонностей ни к каким другим видам спорта; был у него старый велосипед, купленный где-то по случаю; вечером, после уроков, Жасмен иногда разрешал нам прокатиться на своей машине, но гораздо больше нравилось ему катать местных девушек; наконец самое главное: Делюш был хозяином слепого белого осла, который позволял запрягать себя в любую повозку.

Честно говоря, осел принадлежал Дюма, но он всегда давал его Делюшу, когда летом мы отправлялись купаться на Шер. В этих случаях мать Жасмена вручала нам бутылку лимонада, мы укладывали ее под сиденье вместе с купальными штанами, и целой компанией в восемь — десять человек ученики старшего класса, сопровождаемые г-ном Сэрелем, отправлялись в путь кто пешком, кто вскарабкавшись в запряженную ослом тележку, которую потом, возле Шера, где дорога делалась непроезжей, мы оставляли на ферме Гранфона.

Одна из таких прогулок запомнилась мне в мельчайших подробностях. Осел Жасмена вез к Шеру наши купальные штаны, всякую другую поклажу, лимонад и г-на Сэреля, а мы шли по дороге пешком. Был август. Мы только что сдали

экзамены. Нас охватило чувство освобождения, — нам казалось, что все лето, все счастье в мире принадлежит теперь нам, в этот чудесный полдень — дело было в четверг — мы шагали по дороге и во все горло, кто во что горазд, распевали веселые песни.

Только одна тень омрачила эту ясную картину. Мы заметили, что впереди идет Жильберта Поклен. У нее была стройная талия, не очень длинная юбка, высокие башмаки и невинно-задорная осанка девчонки-подростка, которая превращается в девушку. Она сошла с дороги в сторону, свернув на проселок; верно, ее послали за молоком. Маленький Коффен тут же предложил Жасмену пойти за ней следом.

— Это будет не первый поцелуй, который она от меня получит, — откликнулся тот.

И вся наша группа из простого мальчишеского фанфаронства двинулась по проселочной дороге, слушая бесконечные легкомысленные истории Делюша о Жильберте и ее подругах, а тележка с г-ном Сэрелем продолжала свой путь к Шеру. Но скоро нам это наскучило. Девушка убегала от нас, а Делюшу, видно, не очень-то хотелось приставать к ней на людях, и он держался от нее метрах в пятидесяти. Все закончилось кукареканьем и

кудахтаньем да несколькими короткими свистками, выражавшими нашу галантность, после чего мы вернулись на главную дорогу, немного смущенные своим отступлением. Нам пришлось бегом догонять повозку по солнцепеку. Больше мы не пели.

Мы раздевались и одевались в сухих зарослях ивняка, окаймляющих берега Шера. Кустарник защищал нас от посторонних взглядов, но не от палящего солнца. Ступая босыми ногами по песку и засохшей грязи, мы думали только о бутылке с лимонадом вдовы Делюш: перед купаньем мы опустили бутылку в колодец Гранфона, вырытый на самом берегу реки. В глубине колодца всегда виднелась синевато-зеленая трава да два-три каких-то насекомых, похожих на мокриц, но вода была так чиста и прозрачна, что обычно рыболовы, не колеблясь, становились возле колодца на колени и, держась обеими руками за низкий сруб, приникали губами к воде.

Увы, и на этот раз наши ожидания были обмануты… Когда мы оделись, уселись в кружок, поджав по-турецки ноги, и стали делить между собой холодный лимонад, разливая его по двум граненым стаканам, то на долю каждого, включая г-на Сэреля, досталось всего несколько капель пе-

ны, которая только щипала в горле и еще больше возбуждала жажду. Тогда мы отправились к колодцу, которым раньше пренебрегали, и стали по очереди наклоняться лицом к самой поверхности чистой воды. Но мы не привыкли к деревенским обычаям. Многим, как и мне, так и не удалось утолить жажду: одни вообще не любили пить воду, у других перехватило горло от боязни проглотить мокрицу, третьи, обманутые полной прозрачностью неподвижной воды, не сумели рассчитать своих движений и погрузили в воду не только губы, но почти все лицо, втянув носом обжигающе ледяную воду, наконец четвертых остановили все эти причины вместе взятые… Но все равно нам казалось, что вся земная прохлада собралась здесь, на засушливых берегах Шера! И до сих пор, когда я слышу слово «колодец», где бы и кем бы оно ни произносилось, — передо мной возникает колодец Гранфона…

Домой мы возвращались уже под вечер; на душе у нас было сначала так же легко, как и днем, на пути к Шеру. Путь от Гранфона до проселочной дороги шел по дну глухого оврага, пересеченного трещинами и толстыми корнями: зимой здесь протекал ручей, а сейчас, летом, таинственно чернели в сумерках густые древесные заросли.

Часть купальщиков забавы ради углубились в эту чащу. А мы с Жасменом, г-н Сэрель и еще несколько человек двинулись по мягкой песчаной тропинке, которая шла параллельно оврагу и огибала соседнее поле. Мы слышали, как рядом с нами, где-то внизу, невидимые в темноте, смеются и переговариваются наши товарищи, а Делюш все рассказывал нам любовные истории… В верхушках деревьев, которые образовали живую изгородь, шуршали ночные насекомые, и видно было на фоне светлого неба, как они летают вокруг кружевной листвы. Время от времени какой-нибудь жук срывался вдруг вниз с сердитым жужжанием. Чудесный вечер тихого лета… Спокойное, не знающее ни надежд, ни желаний возвращение со скромной деревенской прогулки… И снова Жасмен, сам того не ведая, смутил этот покой…

Когда мы поднялись по склону до самого верха, до того места, где лежат два больших древних камня, — по преданию, остатки крепости, — Жасмен завел разговор о старых поместьях, в которых ему довелось побывать, и, в частности, о почти заброшенной усадьбе в окрестностях Вье-Нансея — поместье Саблоньер. Утрируя произношение жителей департамента Алье, жеманно округляя

одни слова и манерно не договаривая до конца другие, он стал рассказывать, что несколько лет назад в разрушенной часовне этого старинного поместья он видел могильную плиту, на которой высечены слова:

Здесь покоится рыцарь Галуа,[6]
Сохранивший верность своему господу,
Своему королю и своей даме

— Вот как! Скажите пожалуйста! — обронил г-н Сэрель, чуть заметно пожимая плечами; было видно, что его несколько коробит тон наших бесед, но он не хочет мешать нам разговаривать, как взрослым мужчинам.

А Жасмен стал описывать этот замок так подробно, точно он провел там всю жизнь.

Возвращаясь из Вье-Нансея, он и Дюма не раз с любопытством глядели на старую серую башенку, возвышавшуюся над елями. Там, посреди леса, скрывался целый лабиринт обветшалых строений — их можно было осмотреть в отсутствие хозяев. Как-то раз они подвезли в своей тележке местного сторожа, и он показал им эту странную

---

[6] Примечания: 6
Галуа — старинная форма фамилии Гале.

усадьбу. Но с тех пор там все пришло в упадок; по слухам, уцелела лишь ферма, да маленький дачный домик. В нем живут все те же хозяева: старый отставной офицер, наполовину разбитый параличом, и его дочь.

Он говорил, говорил. Я внимательно слушал и безотчетно чувствовал, что речь идет о чем-то таком, что мне самому уже давно знакомо… И вдруг, совсем просто — обычно так и происходят на свете все необыкновенные вещи — Жасмен обернулся ко мне, дотронулся до моей руки и сказал, словно пораженный неожиданной мыслью:

— Послушай-ка, наверно, как раз туда и попал Мольн — помнишь, Большой Мольн!

Я не ответил, и он прибавил:

— Ну да, я вспоминаю, сторож говорил нам тогда про сына хозяина замка, что это чудак с какими-то вывертами в голове…

Я уже не слушал Делюша. С первых его слов я понял, что его догадка верна и что сейчас предо мною, вдали от Мольна, вдали от всяких надежд, открылась доступная и легкая, как тропинка возле твоего дома, дорога в Безымянное Поместье.

Глава вторая
У ФЛОРАНТЕНА

В детстве я был болезненным мальчиком, замкнутым и мечтательным; но тут, почувствовав, что от меня зависит исход этого важного дела, я сразу стал решительным и уверовал в свои силы.

Я даже думаю, что как раз с этого вечера у меня окончательно прошла боль в ноге.

Во Вье-Нансее, центре округа, куда входило поместье Саблоньер, жили все родственники г-на Сэреля и, в частности, мой дядя Флорантен, торговец, у которого мы иногда проводили конец сентября. Поскольку все экзамены были уже сданы, я не захотел ждать и настоял на том, чтобы отправляться к дяде немедленно. Но я решил ничего не сообщать Мольну до тех пор, пока не узнаю чего-нибудь определенного, пока не смогу послать ему добрую весь. В самом деле, к чему было обнадеживать его? Для того чтобы потом он снова впал в отчаянье, еще более глубокое, чем прежде?

Вье-Нансей долгое время был для меня самым

любимым уголком на свете, страной последних дней каникул. Мы посещали его довольно редко, потому что не всегда удавалось нанять повозку, которая бы нас туда довезла. К тому же в давние времена у нас была какая-то ссора с тамошними родичами, и, наверно поэтому, каждый раз приходилось так долго упрашивать Милли, чтобы она тоже села с нами в экипаж. Но какое мне было дело до всех этих размолвок! Сразу же по приезде я забывал обо всем на свете и вел в кругу своих многочисленных двоюродных братьев и сестер жизнь, полную тысяч увлекательных дел и приводивших меня в восторг развлечений.

Мы высаживались из повозки у дома дяди Флорантена и тети Жюли; у них был сын одного со мной возраста, мой кузен Фирмен, и восемь дочерей, из которых старшим, Марии-Луизе и Шарлотте, было, наверно, семнадцать и пятнадцать лет. Дядя владел большим магазином, расположенным возле церкви, у въезда в этот солонский городок, магазином универсальным, который снабжал всем необходимым окрестных жителей — хозяев поместий и охотников, живших одиноко в этих пустынных местах, в тридцати километрах от железной дороги.

Магазин с прилавками, заваленными бакалей-

ными и мануфактурными товарами, выходил многочисленными своими окнами на дорогу, а застекленными дверьми — на большую соборную площадь. Но как ни странно, деревянных полов в лавке не было, их заменяла утрамбованная земля, впрочем, вещь довольно обычная в этих бедных краях.

В глубине магазина имелось еще шесть комнат с разными товарами; в одной продавали только шляпы, в другой — садовые инструменты, в третьей — лампы или уж не помню что. Когда, мальчишкой, я проходил по этому лабиринту вещей и товаров, мне казалось, что я никогда не смогу досыта наглядеться на все эти чудеса. И даже в ту пору, о какой идет речь, я по-прежнему считал настоящими каникулами только те, которые можно провести во Вье-Нансее.

Семья моего дяди жила в большой кухне, сообщавшейся с магазином; здесь в конце сентября пылал в камине яркий огонь, сюда охотники и браконьеры, продававшие Флорантену дичь, заходили спозаранок выпить стаканчик вина, здесь по утрам младшие дочери затевали шум и беготню, брызгая друг другу туалетной водой на гладко причесанные волосы. По стенам были развешаны старые фотографии; на пожелтевших

групповых портретах среди воспитанников Нормальной школы можно было найти и моего отца — правда, разыскать его было нелегко, потому что на всех учениках была одинаковая форма.

Здесь мы проводили каждое утро — здесь да еще во дворе, где Флорантен выращивал георгины и разводил цесарок, где хозяева, сидя на ящиках из-под мыла, поджаривали кофейные зерна, а мы помогали распаковывать коробки, наполненные всевозможными предметами, которые были тщательно обернуты в бумагу и названия которых не всегда были нам известны.

Весь день в магазине толпились крестьяне и кучера из соседних усадеб. У стеклянной двери останавливались мокрые от сентябрьского тумана повозки из дальних деревень. А мы, сидя в кухне, с любопытством прислушивались к разговорам крестьянок…

Но по вечерам, с восьми часов, когда взрослые шли с фонарями в конюшню, чтобы задать сено лошадям, весь магазин целиком переходил в наше распоряжение.

Мария-Луиза, самая старшая и самая малорослая из моих кузин, еще должна была свернуть и сложить кипы сукна в лавке, ей было скучно одной, и она звала нас к себе.

Тогда мы с Фирменом и все девочки врывались в огромную лавку и при свете ламп, какие бывают на постоялых дворах, вертели кофейные мельницы, устраивали между собой поединки, взобравшись на прилавок, а иногда Фирмен отправлялся на чердак отыскивать какой-нибудь позеленевший от времени медный тромбон — уж очень располагал к танцам гладко утоптанный земляной пол…

Я до сих пор краснею при мысли, что в предыдущие годы мадмуазель де Гале могла именно в такой час наших ребяческих забав случайно заглянуть в лавку… Может быть, она и видела меня в такой момент. Но я впервые увидал ее в один из августовских вечеров, незадолго до наступления темноты, когда спокойно беседовал с Марией-Луизой и Фирменом…

В первый же вечер моего приезда во Вье-Нансей я стал расспрашивать дядю Флорантена о поместье Саблоньер.

— Теперь это больше уже не поместье, — сказал дядя. — Там все продано, и покупатели — охотники — велели снести все старые здания, чтобы расширить участки для охоты; парадный двор стал теперь пустырем и весь зарос вереском да утесником. Бывшие владельцы сохранили за

собой только маленький двухэтажный дом и ферму. Тебе, наверное, представится случай увидеть здесь мадмуазель де Гале, она сама приезжает за провизией — иногда верхом, иногда в повозке, но всегда на одной и той же лошади, на старом Белизере… И что за чудной экипаж!

Я был так взволнован, что не сразу придумал, какой еще задать вопрос, чтобы разузнать о поместье побольше.

— Но раньше они были богаты?

— Да. Господин де Гале устраивал празднества, чтобы позабавить своего сына, — странный был мальчик, всегда полна голова причуд. Чего только не придумывал отец, чтобы его развлечь! Приглашали девочек и мальчиков из Парижа… из других городов…

Все имение было уже в развалинах, и госпожа де Гале чуть ли не при смерти, а они все еще пытались развеселить его и выполняли все его прихоти. Минувшей зимой — нет, в позапрошлую зиму — они устроили самый пышный костюмированный праздник. Половину гостей пригласили из Парижа, половину — из местных крестьян. Купили и взяли напрокат множество чудесных костюмов, игр, лошадей, лодок. И все для того, чтобы развлечь Франца де Гале. Говори-

ли, он собирается жениться, и это будет праздник в честь его помолвки. Но он был еще так молод! И все рухнуло в один день. Франц скрылся, с тех пор его никто не видел. Мадмуазель де Гале после смерти матери осталась одна со своим отцом, старым моряком.

— Она не вышла замуж? — решился я наконец.

Нет, об этом я ничего не слыхал. Уж не ты ли собираешься предложить ей руку и сердце?

Я пришел в замешательство и, насколько возможно кратко и сдержанно, признался ему, что речь идет не обо мне, а о моем лучшем друге, Огюстене Мольне.

— О, улыбнулся Флорантен, — если только он не гонится за богатством, это прекрасная партия... Я могу поговорить с господином де Гале. Он иногда еще приезжает ко мне за охотничьей дробью. Я всегда угощаю его старой виноградной водкой.

Но я поспешно возразил, что пока ничего не надо предпринимать. И сам я тоже решил не торопиться и не предупреждать Мольна. Меня немного тревожило такое совпадение счастливых случайностей. И эта тревога заставила меня ничего не говорить Мольну хотя бы до тех пор, пока я сам не повидаю девушку.

Мне не пришлось долго ждать. На следующий

день, перед самым ужином, когда уже начинало темнеть, в воздухе поплыл холодный туман, напомнивший о близости сентября. Мы с Фирменом, зная, что в это время в магазине бывает мало покупателей, пошли проведать Марию-Луизу и Шарлотту. Они уже знали, какая тайная причина привела меня во Вье-Нансей раньше обычного. Облокотившись о прилавок или сидя на нем, опершись ладонями о полированное дерево, мы стали рассказывать друг другу все, что нам было известно о таинственной девушке, а известно нам было довольно мало. Вдруг шум колес заставил нас обернуться.

— Вот и она сама, — тихо сказали мои кузины.

Спустя несколько секунд перед стеклянной дверью остановился странный экипаж. Я увидел старую закрытую карету, каких нам еще не приходилось встречать в этих местах, с закругленными сверху стенками, с узорчатым карнизом; старая белая лошадь на каждом шагу пригибала голову к земле, словно ей все время хотелось пощипать травы на дороге, а в карете сидела девушка — самая прекрасная девушка на свете, — быть может, это звучит и наивно, но я отвечаю за свои слова.

Никогда я не видел такого удивительного сочетания изящества и серьезности. Платье плотно

облегало тонкую талию, что придавало всему ее облику странную хрупкость. На плечи был наброшен просторный коричневый плащ, который она сбросила у входа в комнату. Это была самая серьезная из девушек, самая хрупкая из женщин. Тяжелые светлые волосы обрамляли ее лоб и все тонко очерченное, нежно вылепленное лицо. На ее белоснежной коже лето оставило две веснушки… В этой редкой красоте я заметил только один недостаток: в минуты грусти, уныния или просто глубокого раздумья на ее чистом лице проступали красноватые пятна, как это бывает иногда с тяжелобольными, которые сами не подозревают о своем недуге. В такие моменты чувство восхищения ее красотой уступало место жалости, тем более волнующей, что она заставила вас врасплох.

Все это я успел заметить за тот короткий промежуток времени, пока она неторопливо выходила из кареты. И вот наконец Мария-Луиза непринужденно представляет меня девушке и тем как бы приглашает начать разговор…

К ней пододвинули стул, и она села, прислонившись к прилавку; мы стояли рядом. Казалось, она хорошо знает и любит этот дом. Кто-то успел известить тетю Жюли, она тотчас пришла к нам

и, скрестив руки на животе, легонько покачивая головой в белом крестьянском чепце, стала о чем-то степенно и рассудительно говорить с гостьей, чем немного отодвинула тот страшный для меня миг, когда в разговор должен был вступить и я…

Но все произошло очень просто.

— Так, значит, вы скоро станете учителем? — спросила мадмуазель де Гале.

Тетка зажгла над нашими головами фарфоровую лампу, и магазин озарился слабым мерцанием. Я видел нежное детское лицо девушки, ее Синие наивные глаза, и тем более изумлял меня ее голос — необычайно ясный и серьезный. Задав вопрос, она отвела взгляд в сторону и, ожидая ответа, сидела неподвижно, чуть закусив губу.

— Я бы тоже могла преподавать, если бы только господин де Гале разрешил мне! — проговорила она потом. — Я бы стала учить малышей, как ваша матушка…

И она улыбнулась, давая этим понять, что мои кузины рассказывали ей обо мне.

— Деревенские жители всегда очень вежливы со мной, добры и услужливы, — продолжала она. — И я их очень люблю. Но разве это можно ставить мне в заслугу?.. Вот с учительницами они бывают сварливы и скупы, правда? Вечные

разговоры — куда девалась ручка с пером, почему тетради так дороги, почему дети плохо понимают объяснения. Ну что ж! Я бы спорила с ними. И все-таки они бы любили меня! Вот это было бы потруднее…

И без улыбки, как-то по-детски задумчиво, она устремила вдаль неподвижный взгляд своих синих глаз.

Мы все трое были немного смущены той непосредственностью, с какой она говорила о вещах деликатных, возвышенных, сокровенных, о которых обычно читаешь только в книгах. Некоторое время все молчали, но потом разговор постепенно завязался…

И тогда, словно со скорбью, даже с враждебностью к чему-то, чего мы не знали, она сказала:

— И потом, я научила бы мальчиков благоразумию, я знаю, о каком благоразумии говорю. Я не стала бы внушать им то желание бродить по свету, которое, наверное, и вы, господин Сэрель, будете внушать своим ученикам, когда станете помощником учителя. Я научила бы их находить свое счастье рядом, даже когда оно на первый взгляд и не похоже на счастье…

Мария-Луиза и Фирмен были так же озадачены, как и я. Мы все трое молчали. Она почувствовала

наше смущение, прервала себя, прикусила губу, опустила голову — и вдруг улыбнулась, словно посмеиваясь над нами.

— Ведь, может статься, — сказала она, — что какой-нибудь шальной молодой человек ищет меня на краю света — в тот самый миг, когда я сижу здесь, в магазине госпожи Флорантен, под этой вот лампой, а моя старая лошадь, ждет меня у дверей. Если бы этот молодой человек меня здесь увидел, он бы не поверил своим глазам, не правда ли?..

Видя, что она улыбается, я ощутил прилив отваги и сказал ей, тоже смеясь:

— А может быть, я знаю его, этого шального молодого человека?

Она с живостью взглянула на меня. В этот момент у дверей зазвонил колокольчик, вошли две женщины с корзинами.

— Пройдите в нашу «столовую», там вас никто не потревожит, — сказала нам тетя Жюли, распахивая дверь на кухню.

И так как мадмуазель де Гале отказалась и хотела сейчас же отправляться домой, моя тетка добавила:

— Здесь и господин де Гале. Они с Флорантеном беседуют у камина.

Хотя был август, в большой кухне, как всегда, с треском пылала в камине охапка еловых дров. Там была зажжена фарфоровая лампа, и рядом с Флорантеном, за стаканом виноградной водки, молча, словно пригибаясь под тяжестью возраста и воспоминаний, сидел старик с морщинистым, гладко выбритым добрым лицом.

— Франсуа! — закричал Флорантен громовым голосом ярмарочного торговца, точно нас разделяла река или поле в несколько гектаров. — Мы договорились, что в следующий четверг устроим пикник на берегу Шера. Кто поохотится, кто рыбку половит, кто потанцует, кто искупается!.. Мадмуазель, вы приедете верхом. Решено. Я все уладил с господином де Гале…

И, как будто эта мысль только что пришла ему в голову, он добавил:

— Да, Франсуа, ты можешь привести своего приятеля, господина Мольна… Кажется, я не ошибся, его фамилия Мольн?

Мадмуазель де Гале внезапно встала, страшно побледнев. И я тогда вспомнил, что в том странном Поместье Мольн назвал ей на берегу пруда свое имя…

Когда она, прощаясь, протянула мне руку, я понял яснее, чем после долгих бесед, что между

нами установилось тайное взаимопонимание, которое может нарушить только смерть, установилась дружба более крепкая, чем самая большая любовь.

…На следующее утро, в четыре часа, Фирмен постучал в дверь моей маленькой комнаты, выходившей во двор с цесарками. Было еще темно, и я с трудом разыскал свои вещи на столе, заставленном медными подсвечниками и новенькими статуэтками святых, взятыми из магазина накануне моего приезда, чтобы украсить мое жилье. Я слышал, как во дворе Фирмен накачивает шины моего велосипеда, а тетка разводит в кухне огонь. Солнце только поднималось, когда я выехал со двора. Мне предстоял долгий день: сначала позавтракать в Сент-Агате, повидаться с родителями и объяснить им свое длительное отсутствие, потом снова пуститься в путь, чтобы добраться к вечеру до Ла-Ферте-д'Анжийон, где жил мой друг Огюстен Мольн.

Глава третья
ИСТОРИЯ С ПРИВИДЕНИЕМ

До сих пор мне не приходилось совершать длительных поездок на велосипеде. Так далеко я отправился впервые. Но, несмотря на больное колено, я уже давно, тайком от родителей, с помощью Жасмена научился велосипедной езде. Велосипед — вещь необычайно привлекательная для каждого подростка; какое же удовольствие испытывал я теперь, если еще так недавно с трудом волочил ногу и обливался потом после каких-нибудь трех километров пути. Спускаться вниз по косогорам, углубляясь в тенистые ложбины, лететь, как на крыльях, обнаруживая за поворотом далекие извивы дороги, которые меняются на глазах и словно расцветают при твоем приближении, в один миг промчаться по деревенской улице, унося ее с собою в памяти… Только во сне переживал я прежде радость полета, такого чарующего, такого легкого. Даже брать подъемы казалось мне увлекательным делом. К тому же я ехал по родным местам Мольна — и это было особенно упоительно.

«Недалеко от въезда в городок, — говорил мне когда-то Мольн, описывая эти края, — виднеется большое колесо с лопастями, когда дует ветер, оно вертится...» Он не знал, какую работу выполняет это колесо, а может быть, желая возбудить мое любопытство, делал вид, что не знает.

Лишь к концу этого дня я увидел наконец посреди огромной равнины большое ветряное колесо — должно быть, насос, качавший воду для соседней фермы. За лугом, обсаженным тополями, уже виднелись первые строения пригородов. Дорога делала большой крюк, огибая ручей, и передо мной открывались все новые виды... Проехав мост, я увидел наконец главную улицу городка.

Я стоял, положив руки на руль велосипеда, и осматривал местность, куда я явился как гонец с такой удивительной вестью. На лугу, скрытые зарослями тростника, паслись коровы, слышался звон их бубенцов. За маленьким деревянным мостом начинались дома, они вытянулись в ряд вдоль улицы, у края длинной канавы, напоминая корабли, которые, убрав паруса, в вечерней тишине причалили к берегу. Был час, когда во всех кухнях разводят огонь.

И вдруг какое-то странное чувство отняло у меня все мужество; я жалел, что приехал, я словно

испугался, что мое появление нарушит весь этот безмятежный покой. Поддавшись малодушному желанию отложить встречу с Мольном, я ухватился за мысль, что здесь, в Ла-Ферте-д'Анжийон, на маленькой площади, живет тетка Муанель.

Она приходилась мне двоюродной бабушкой. Все ее дети умерли; я хорошо помнил Эрнеста, самого младшего — высокого юношу, который должен был стать учителем. Он тоже умер, а вслед за ним — и мой двоюродный дед Муанель, старый судейский чиновник. И тетя Муанель осталась одна в своем смешном маленьком домике, где ковры были сшиты из цветных лоскутков, столы покрыты вырезанными из бумаги петухами, курами и кошками, а стены увешаны старыми дипломами, портретами покойных родственников и медальонами с прядями их волос…

Но и пережив столько скорби и столько утрат, она оставалась самой веселой и забавной старушкой на свете. Я разыскал небольшую площадь, где стоял ее дом, подошел к полуоткрытой двери и громко позвал ее. Откуда-то из глубины расположенных анфиладой трех комнат послышался пронзительный возглас:

— Вот тебе на! О боже мой!

Она опрокинула кофе в огонь — почему она

варила кофе в такой неурочный час? — и выбежала ко мне… Она держалась очень прямо, даже как-то выгибалась назад, на самой макушке у нее возвышалось странное сооружение — не то шляпка, не то капор, не то чепец, оставляя открытым огромный морщинистый лоб, и придавая ее лицу что-то монгольское или готтентотское; она смеялась дробным смехом, обнажая остатки мелких зубов.

Когда я поцеловал ее, она торопливо и неловко схватила меня за руку, которую я держал за спиной. С таинственностью, совершенно излишней, потому что в комнатах никого не было, она вложила мне в руку монетку, на которую я не посмел взглянуть, — вернее всего франк… Видя, что я собираюсь отказываться и благодарить ее, тетя Муанель наградила меня тумаком и закричала:

— Оставь! Уж я-то знаю, что делаю!

Она всю жизнь жила в бедности, всегда в долгах — и всегда сорила деньгами.

— Я всегда была глупой и несчастной, — говорила она без всякой горечи своим резким фальцетом.

Убежденная, что я, как и она сама, нуждаюсь в деньгах, добрая женщина, не дав мне и рта раскрыть, насильно сунула мне в руку свои скудные,

сбереженные за день гроши. С этого неизменно начиналось и каждое последующее наше свидание.

Ужин, которым она меня угостила, был не менее странным, чем встреча, и таким же грустным и смешным. Тетушка то уходила с зажженной свечой в руках, оставляя меня в темноте, то ставила ее на маленький столик среди щербатых или расколотых блюд и ваз.

— Вот у этой вазы, — говорила она, — в семидесятом году пруссаки отбили ручки, со зла, что не могут унести ее с собой.

И только при виде огромной вазы с такой трагической историей я вспомнил, что мы когда-то уже обедали и ночевали в этом домике. Отец возил меня в департамент Йонны к врачу, чтобы показать мою больную ногу. Нужно было ехать скорым поездом, который проходил перед рассветом… Я вспомнил тогдашний тоскливый ужин, вспомнил истории, которые рассказывал старый судейский, поставив локти на стол возле бутылки с розовым вином.

Вспомнились мне и мои тогдашние страхи. После ужина тетка отвела отца в сторону, села возле камина и принялась рассказывать ему о приведениях. «Оборачиваюсь… О дорогой Луи,

что я вижу! Маленькую седую женщину...» Все кругом знали, что голова у тетя Муанель буквально начинена всей этой чепухой.

Вот и на сей раз после ужина, когда, измученный целым днем велосипедной езды, я улегся в большой комнате, натянув на себя клетчатую ночную рубашку, оставшуюся после дяди Муанеля, она присела у моего изголовья и начала с самым таинственным видом, своим самым пронзительным голосом:

— Мой бедный Франсуа, я должна тебе рассказать то, чего еще никогда никому не рассказывала...

Я подумал:

«Ну, меня можно поздравить! Теперь, она будет мучить меня всю ночь, как десять лет назад!»

И мне пришлось слушать. Рассказывая, она покачивала головой и смотрела не на меня, а куда-то вперед, словно говорила рама с собой:

— Возвращались мы с Муанелем домой с одного праздника. После смерти нашего бедного Эрнеста это была первая свадьба, на которую мы отправились вдвоем, и там я встретила мою сестру Адель, которую не видела целых четыре года! Один старый приятель Муанеля, очень богатый человек, пригласил его на свадьбу своего сына в поместье

Саблоньер. Мы наняли повозку. Это нам недешево обошлось. Едем по большой дороге утром, часов около семи. Дело было зимой, только начало светать. Вокруг — ни души. И что же я вдруг вижу впереди, на дороге? Молодого человека. Маленького молодого человека, с лицом, как ясное солнышко. Стоит на дороге как вкопанный и на нас смотрит. А мы подъезжаем все ближе. И нам все лучше видно его лицо, красивое-красивое, белое-белое! Такое красивое, что просто страх!..

Схватила я Муанеля за руку, дрожу как лист и думаю: это сам господь бог!.. Я говорю: «Смотри! Это нам явление!» А он отвечает — совсем тихо и так зло: «Я и сам вижу! Помолчи, старая болтунья...»

Он тоже не знал, что делать. А лошадь остановилась. Теперь, вблизи, видим: лицо у него бледное, на лбу пот, грязный берет, длинные брюки. И слышим нежный голос: «Я не мужчина, я девушка. Я убежала из дому, выбилась из сил. Будьте так добры, возьмите меня в свою повозку, сударь и сударыня...» Мы тут же забрали ее с собой. Не успела она сесть, как потеряла сознание. И можешь себе представить, кем она оказалась? Невестой молодого человека из Саблоньера, того самого Франца де Гале, на чью свадьбу нас при-

гласили!

— Но ведь свадьба не состоялась, раз невеста убежала! — сказал я.

— И верно, не состоялась, — ответила она, сконфуженно глядя на меня. — Свадьбы не было. Потому что это бедная сумасбродка вбила себе в голову тысячу глупостей. Она нам все объяснила. Она дочка бедного ткача. И решила, что такое огромное счастье не для нее, что молодой человек еще слишком юн, что все чудеса, которые он ей расписывал, просто выдумки, и когда наконец Франц приехал за ней, Валентину охватил страх. Несмотря на холод и сильный ветер, Франц гулял с ней и с ее сестрой по Архиепископскому саду, — дело было в Бурже. Юноша любил младшую из сестер и поэтому, из вежливости, конечно, был очень внимателен к старшей. И вот моя глупышка вообразила бог весть что. Сказала, что пойдет домой за косынкой, переоделась в мужское платье, надеясь, что так ее трудней будет разыскать, — и убежала по парижской дороге.

Жениху она написала письмо, где объявляла, что едет к молодому человеку, которого любит. А это была неправда…

«Я принесла себя в жертву, и это дало мне гораздо больше счастья, чем если б я стала его

женой», — говорила она. — Вот так-то, мой глупенький, а ведь он-то и не думал жениться на ее сестре: он пустил себе пулю в лоб, в лесу обнаружили кровь, но тела так и не нашли.

— И что же вы сделали с несчастной девушкой?

— Прежде всего мы заставили ее выпить рюмочку вина. Потом, когда вернулись домой, накормили ее, и она уснула возле камина. Она прожила с нами добрую половину зимы. С самого утра, как только рассветет, принималась не покладая рук и шить, и кроить, и приводить в порядок платья и шляпы, и в комнатах прибирать. Это она стены обоями оклеила. И с того времени у нас вьют гнезда ласточки. Но по вечерам, как стемнеет, закончив работу, она, бывало, всегда найдет какой-нибудь предлог, чтобы уйти в сад, или во двор, или просто возле дома постоять — даже в самые трескучие морозы. И там мы заставали ее всю в слезах. «Ну вот, вы опять плачете! Что с вами?» — «Ничего, госпожа Муанель!» — И возвращалась в дом.

Соседи говорили: «У вас прелестная маленькая горничная, госпожа Муанель».

Но как мы ни умоляли ее, она решила продолжать свой путь в Париж. В марте она ушла. Я

отдала ей свои платья, и она перешила их для себя; Муанель взял ей на вокзале билет и дал немного денег на дорогу.

Она не забыла нас. Она стала портнихой в мастерской возле Собора Парижской богоматери. В письмах все спрашивала, нет ли каких новостей из Саблоньера. Чтобы избавить ее от этих мыслей, я как-то раз ответила ей, что поместье продано и снесено, что молодой человек исчез навсегда, а девушка, его сестра, вышла замуж. Да я думаю, так оно, наверное, и есть. С тех пор моя Валентина пишет мне гораздо реже…

Нет, не историю с привидениями рассказывала мне тетя Муанель своим тоненьким, пронзительным голоском, словно созданным для таких историй. Меня охватила тревога. Ведь мы поклялись актеру Францу, что поможем ему как братья, и теперь мне представился случай эту клятву сдержать…

Но вот ведь какая незадача! Разве посмею я завтра утром отравить радость Мольна и рассказать ему все, что узнал сейчас от тети Муанель? К чему толкать его на новые поиски, которые будут в тысячу раз труднее всех прежних? Правда, у нас есть адрес девушки, но где мы отыщем бродягу, который странствует по всему свету?..

Пусть сумасброды сами занимаются своими сумасбродствами, думал я. Делюш и Бужардон были правы. Сколько зла причинили нам романтичные бредни Франца! И я решил никому ничего не говорить, пока не увижу Огюстена Мольна женатым на мадмуазель де Гале.

Но даже приняв это решение, я не сразу отделался от тяжелого предчувствия, что нам угрожает опасность, — нелепого предчувствия, которое я скоро прогнал.

Свеча почти догорела, где-то пищал комар, голова тети Муанель в бархатном капоре, с которым она расставалась только ложась спать, клонилась все ниже, но она снова начала всю историю с самого начала. Иногда она внезапно поднимала голову и взглядывала на меня, точно желая узнать, какое впечатление производит на меня ее рассказ, или, может быть, проверяя, не заснул ли я. Наконец я решил схитрить и, уткнувшись в подушку, закрыл глаза и притворился, что сплю.

— Э, да ты спишь, — протянула она приглушенным и немного обиженным голосом.

Мне стало ее жаль, и я запротестовал:

— Да нет же, тетя, уверяю вас…

— Да, да. Впрочем, я вижу, что тебя все это во-

обще нисколько не интересует. Ведь я говорю о людях, с которыми ты никогда не был знаком…

На этот раз я коварно промолчал.

Глава четвертая
ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Наутро, когда я выехал на главную улицу, стояла такая чудесная погода, в городке царил такой безмятежный покой, такие мирные, такие по-домашнему уютные звуки слышались вокруг, что ко мне опять вернулась радостная уверенность человека, несущего добрую весть.

Огюстен и его мать, жили в старом школьном здании. Отец его, получив большое наследство, еще в давние времена вышел в отставку, и после его смерти Мольн упросил мать купить этот дом, в котором старик преподавал добрых двадцать лет и где сам Огюстен научился читать. Нельзя сказать, чтобы школа выглядела привлекательно. Большое квадратное строение напоминало мэрию, которая действительно здесь когда-то помещалась; выходившие на улицу окна первого этажа были расположены на такой высоте, что в них невозможно было заглянуть, а задний двор, в котором не росло ни единого деревца и где навес над площадкой для игр закрывал вид на окрестные поля, являл собой самый тоскливый

и самый пустынный школьный двор, какой мне только доводилось встречать…

В запутанном коридоре, куда выходили четыре двери, я встретил мать Мольна, она несла из сада большой тюк белья, которое, должно быть, с самого раннего утра развесила для просушки. Ее волосы растрепались, седые пряди, выбиваясь из старомодной прически, падали на лоб, лицо с правильными чертами казалось припухшим и усталым, как после бессонной ночи: она шла, задумчиво и грустно опустив голову.

Но внезапно заметив и узнав меня, улыбнулась.

— Вы приехали вовремя, — сказала она. — Вот видите, я только что сняла белье, которое высушила к отъезду Огюстена. Всю ночь я собирала его вещи. Поезд отходит в пять, но мы как раз успеем…

Она говорила с такой уверенностью, будто сама назначила день и час отъезда сына. А между тем она, может быть, даже не знала, куда он едет…

— Поднимитесь, — сказала она. — Вы найдете его в мэрии, он там пишет.

Я поспешно поднялся по лестнице, открыл правую дверь, на которой сохранилась табличка «Мэрия», и очутился в большом зале с четырьмя

окнами — два из них выходили на улицу, два в сторону полей — и с пожелтевшими портретами президентов Греви и Карно на стенах. В глубине зала, на длинном возвышении, возле стола, покрытого зеленой скатертью, все еще стояли стулья муниципальных советников. В центре этого ряда стульев, в старом кресле, которое когда-то принадлежало мэру, сидел Мольн и что-то писал, обмакивая перо в старомодную фаянсовую чернильницу в форме сердца. Здесь, в этом уголке, словно созданном для какого-нибудь сельского рантье, обычно уединялся Мольн в долгие дни каникул — если только не отправлялся странствовать по окрестным лесам…

Узнав меня, он встал, но без той стремительности, которой я ожидал.

— Сэрель! — только и проговорил он с видом глубокого удивления.

Передо мной был все тот же высокий юноша с костлявым лицом, с бритой головой. Над губой уже начинали пробиваться усы. И по-прежнему — открытый взгляд… Но над его лицом, казалось, колышется туманная завеса, и лишь ненадолго прорывается сквозь нее былая страстность, прежний пыл…

Я видел, что встреча со мной взволновала его.

Одним прыжком оказался я на помосте. Но, странно сказать, он даже не подумал протянуть мне руку. Он обернулся ко мне с видом величайшего смущения и неловкости, заложив руки за спину, прижавшись к столу и откинувшись назад. Глядя на меня, но меня как будто не видя, он уже был целиком поглощен теми словами, которые собирался мне сказать. Ему и прежде всегда было трудно начать разговор, как это бывает с отшельниками, охотниками и скитальцами; он принимал решение, не заботясь обычно о том, какими словами его выразить. И теперь, когда я стоял перед ним, он с трудом подбирал нужные слова.

Тем временем я стал весело рассказывать ему, как я добрался, где провел ночь и как был удивлен, увидев, что г-жа Мольн готовит сына к отъезду…

— А, она тебе уже сказала?.. — спросил он.

— Да. Я надеюсь, ты едешь ненадолго?

— Нет, очень надолго.

На миг растерявшись, чувствуя, что я могу сейчас одним словом свести к нулю его решение, смысл которого мне непонятен, я не смел продолжать разговор и не знал, как приступить к выполнению своей миссии.

Наконец он сам заговорил, точно человек, желающий оправдаться:

— Сэрель! Ты знаешь, чем было для меня то странное приключение в Сент-Агате. В нем был весь смысл моего существования, вся надежда. Утратив эту надежду, что мог я делать в жизни?.. Жить, как все вокруг живут?

Что ж, я попробовал так жить — в Париже, после того как понял, что все кончено, что не стоит и пытаться искать Затерянное Поместье… Но если человек хоть раз побывал в раю, разве он может привыкнуть к обыденной жизни? То, в чем другие видят счастье, мне показалось насмешкой. А с того дня, как я все же решил — искренне, по своей собственной воле решил жить, как все, — с того самого дня меня терзают угрызения совести…

Сидя на стуле, я слушал, не глядя на него, опустив голову и не зная, как отнестись к этим запутанным объяснениям.

— Мольн! Растолкуй мне как следует! — сказал я. — Зачем это дальнее путешествие? Тебе что же, какую-то ошибку надо исправить? Или сдержать обещание?

— Вот-вот, — ответил он. — Ты помнишь, что я обещал Францу?

— Ах так, — вздохнул я с облегчением, — зна-

чит, речь идет только об этом?..

— Об этом. А может быть, и об ошибке, которую надо исправить. Даже о двух ошибках…

Последовало недолгое молчание, во время которого я собирался с мыслями и искал нужные слова…

— Я знаю одно, — добавил Мольн, — конечно, я бы хотел еще раз повидать мадмуазель де Гале, только повидать… Но вот в чем я теперь твердо убежден: когда я открыл Безымянное Поместье, я ощутил себя на такой высоте, на вершине такого совершенства и такой чистоты, каких мне никогда уже не достигнуть. Только в смерти, — я тебе как-то писал об этом, — я, может быть, смогу вновь обрести красоту тех дней…

Потом, приблизившись ко мне, он проговорил другим тоном, со странным возбуждением:

— Но послушай, Сэрель! И новые отношения в моей жизни, и дальняя поездка, и ошибка, которую я совершил и которую надо исправить, — все это в некотором смысле продолжает прежнее мое приключение…

Он замолчал, пытаясь поймать ускользавшие воспоминания. Только что я упустил удобный случай перейти к делу. Ни за что на свете не хотел я упускать его снова. И заговорил — на этот раз

слишком рано: впоследствии я горько сожалел, что не дослушал его признаний до конца.

Итак, я произнес фразу, которую заготовил минутой раньше, но которая оказалась теперь неуместной. Сидя все так же неподвижно, я сказал, едва приподняв голову:

— А если я сообщу тебе, что надежда еще не потеряна?.. Он посмотрел на меня, потом, резко отведя глаза, покраснел, — мне никогда не приходилось видеть, чтобы люди так краснели, — казалось, вся кровь разом прилила к его голове и бешено застучала в висках…

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил он наконец едва слышно.

Тогда, словно бросившись головой в омут, я рассказал ему обо всем, что узнал, и что успел предпринять, и как все обернулось, — выходило, что чуть ли не сама Ивонна де Гале послала меня за ним.

Теперь он стал страшно бледен.

Пока я говорил, он слушал молча, слегка втянув голову в плечи, как человек, на которого внезапно напали и он не знает, защищаться ему, или спрятаться, или бежать. Помнится, он только раз перебил меня: я мимоходом заметил, что вся усадьба Саблоньер разрушена, что прежнего

Поместья нет больше на свете, и тогда, словно он только и ждал случая оправдать свое поведение, свое безысходное отчаянье, Мольн сказал:

— О, вот видишь, вот видишь — больше ничего нет… Убежденный, что боль его наконец-то исчезнет, едва он только поймет, как все стало теперь просто и легко, я поспешил закончить свой рассказ, сообщив, что мой дядя Флорантен устраивает увеселительную прогулку, что в ней должна принять участие мадмуазель де Гале и что он, Мольн, тоже приглашен… Но он казался совершенно растерянным и продолжал молчать.

— Нужно сейчас же отменить твой отъезд, сказал я нетерпеливо. — Пойдем предупредим твою мать…

И когда мы оба уже спускались по лестнице, он спросил меня с нерешительностью:

— Эта увеселительная прогулка… Ты в самом деле считаешь, что мне туда нужно поехать?..

— Ну как же, само собой разумеется, — ответил я.

У него был такой вид, будто его взяли за плечи и насильно толкают вперед.

Внизу Огюстен сказал г-же Мольн, что я буду у них обедать и ужинать, переночую, а завтра он достанет для меня велосипед и поедет вместе со

мной во Вье-Нансей.

— Что ж, очень хорошо, — кивнула она головой, словно только и ожидала этого сообщения.

Я сидел в маленькой столовой, стены которой были украшены иллюстрированными календарями, кинжалами с узорными рукоятками и суданскими бурдюками, привезенными из далеких плаваний братом г-жи Мольн, бывшим солдатом морской пехоты…

Мольн на минуту оставил меня одного и, пока еще не начался завтрак, вышел в соседнюю комнату, где мать собирала ему вещи в дорогу; я слышал, как, чуть понизив голос, он попросил не распаковывать его чемодан, потому что поездка, возможно, лишь ненадолго откладывается…

Глава пятая
ПИКНИК

Я с трудом поспевал за Огюстеном по дороге, которая вела к Вье-Нансею. Он мчался, как настоящий гонщик. Он не слезал с велосипеда даже на крутых подъемах. Необъяснимая нерешительность, которую он проявил накануне, сменилась лихорадочным возбуждением, стремлением приехать как можно скорее, и это меня даже немного пугало. Такое же нетерпение он выказал и у дяди Фларантена, он не мог ни на чем сосредоточиться вплоть до того момента, когда, к десяти часам утра, мы все стали рассаживаться в экипаже, чтобы отправиться на речку.

Был конец августа, последние летние дни. С пожелтевших каштанов, устилая белый грунт дорог, уже начинала слетать скорлупа. Ехать предстояло недалеко: ферма Обье, куда мы направлялись, была расположена неподалеку от берега Шера, всего километрах в двух от поместья Саблоньер. Время от времени нам попадались повозки с другими участниками пикника и даже несколько молодых людей верхом, — Флорантен

на свой страх и риск пригласил их от имени господина де Гале… Устроители прогулки постарались, как и в прежние времена, соединить в одной компании богачей и бедняков, помещиков и крестьян. Среди приглашенных мы увидели и прикатившего на велосипеде Жасмена Делюша, которого сторож Баладье познакомил когда-то с моим дядей.

— Вот и он, — сказал Мольн, увидев Делюша, — человек, в чьих руках все время были ключи от нашей тайны, а мыто в своих поисках до Парижа дошли. Ну как тут не прийти в отчаянье!

И он бросал на Делюша злобные взгляды. А тот, искренне считая, что заслужил нашу признательность, всю дорогу ни на шаг не отставал от нашей повозки. Было видно, что бедняга раскошелился на обновление своего туалета, но больших результатов это не принесло, и полы его поношенного сюртука все время бились о крыло велосипеда… Несмотря на все его старания быть любезным, его старообразное лицо вряд ли могло кому-нибудь понравиться. Он внушал мне какую-то смутную жалость. Но только ли к нему одному я испытывал жалость в тот памятный день?..

Этот пикник я всегда вспоминаю с тяжелым чувством, с глубокой печалью. Как предвкушал

я ту радость, какую подарит мне этот день! Казалось, все вокруг сговорилось доставить нам счастье. Но счастье не пришло…

А как красивы были берега Шера! Место, где мы остановились, представляло собой пригорок, отлого спускавшийся к воде; земля здесь делилась на маленькие зеленые лужайки и на ивовые рощицы, обнесенные изгородями, точно крохотные сады и огороды. Другой берег реки был покрыт серыми холмами, крутыми и каменистыми, и на самых далеких из них среди елок мелькали маленькие замки с романтичными башенками. Порой издалека, из замка Преверанж, доносился лай собачьей своры.

Нам пришлось добираться до места по целому лабиринту узких дорог и тропинок, то песчаных, то усеянных белой галькой; у самой реки все эти тропинки становились ручьями, потому что из-под земли здесь били ключи. Мы цеплялись рукавами за кусты дикой смородины, мы то погружались в прохладный полумрак глубоких оврагов, то, выходя на открытое место, окунались в прозрачные волны света, заливавшие всю долину. Подойдя поближе к реке, мы увидели, как вдали, на другом берегу, какой-то человек, прижавшись к скале, медленными движениями

расправлял рыболовную снасть… Боже, как здесь было хорошо!

Мы устроились в укромном уголке, на лужайке, со всех сторон окруженной молодым березняком. Лужайка была большая и ровная — трудно найти лучшее место для веселья и игр!

Выпрягли лошадей и отвели их на ферму Обье. Под деревьями стали распаковывать провизию, а на лугу расставляли раскладные столики, которые привез дядя Флорантен.

Тут понадобились желающие пойти к повороту соседней дороги встретить запоздавших гостей и указать им место нашего лагеря. Я вызвался первым, Мольн пошел со мной, и мы расположились недалеко от висячего моста, у перекрестка, где дорогу из Саблоньера пересекают многочисленные тропинки.

В ожидании мы прохаживались взад и вперед, вспоминали о прошлом и всеми силами старались отвлечься от тревожных мыслей. Проехала еще одна повозка из Вье-Нансея, а в ней — незнакомые нам крестьяне со взрослой дочерью, у которой в волосы вплетены были ленты. И опять никого на дороге. Впрочем, вот трое ребятишек в коляске, запряженной осликом, — дети бывшего садовника из Саблоньера.

— Мне кажется, я их узнаю, — сказал Мольн. — Ну конечно, это они взяли меня за руки тогда, в первый вечер праздника, и повели обедать…

В этот момент осел заупрямился и не захотел идти дальше; дети выскочили из коляски, принялись тянуть, стегать, колотить его, что было мочи, — и Мольн с горечью признал, что ошибся…

Я спросил детей, не встретились ли им по дороге господин и мадмуазель де Гале. Один из них ответил, что не знает, другой сказал: «Кажется, да, сударь». Большего мы от них не смогли добиться. Наконец дети съехали с дороги и двинулись по лужайке; один тянул ослика за уздечку, другие подталкивали коляску сзади. Наше ожидание возобновилось. Мольн не спускал глаз с того места, где дорога сворачивала к Саблоньеру; он чуть ли не со страхом ожидал появления девушки, которую когда-то разыскивал с такой страстью. Потом им овладела странная, даже смешная досада — все против того же Жасмена. С небольшого возвышения, на которое мы взобрались, чтобы лучше следить за дорогой, нам видно было, как внизу, на лужайке, Делюш собрал вокруг себя группу гостей и пытается завладеть всеобщим вниманием.

— Посмотри, как он разглагольствует, этот дурак, — сказал мне Мольн.

Я ответил:

— Да оставь ты беднягу в покое. Каждый делает что умеет.

Огюстен не унимался. В это время на лужайку выскочил из лесу какой-то зверек, не то заяц, не то белка. Жасмен, все больше входя в роль разбитного малого, сделал вид, что хочет погнаться за ним.

— Подумать только! Теперь он бежит! — сказал Мольн таким тоном, словно Делюш совершил геройский поступок.

На этот раз я не смог удержаться от смеха. Засмеялся и Мольн, но это была всего лишь секундная вспышка веселости.

Прошло еще с четверть часа, и он сказал:

— А если она вообще не приедет?..

— Но ведь она обещала, — возразил я. — Наберись терпения!

Он опять принялся неотрывно глядеть на дорогу. Однако вскоре, не в силах больше выносить это томительное ожидание, проговорил:

— Послушай, я спущусь вниз, к остальным. Мне кажется, все обернулось против меня, и, если я останусь здесь, она никогда не приедет. Просто

не могу себе представить, чтобы сейчас, за этим поворотом, вдруг появилась она.

И он ушел на лужайку, оставив меня одного. Чтобы убить время, я пошел вперед по дороге. Прошел сотню-другую метров и за первым же поворотом увидел Ивонну де Гале: она ехала верхом, ее старый белый конь проявил в то утро неожиданную резвость, и наезднице приходилось все время натягивать поводья, не давая ему перейти на рысь. Впереди, с трудом переставляя ноги, молча шел г-н де Гале. Должно быть, отец и дочь менялись по пути друг с другом местами, поочередно садясь на лошадь.

Увидев, что я в одиночестве, девушка улыбнулась, быстро спрыгнула с лошади и, передав поводья отцу, направилась ко мне, я побежал ей навстречу.

— Как я рада, что с вами никого нет! — сказала она. — Я не хочу никому, кроме вас, показывать старого Белизера, не хочу, чтобы его пускали пастись с другими лошадьми. Ведь он так уродлив и стар, и к тому же я всегда боюсь, как бы другие лошади его не поранили. Только на него я и решаюсь садиться, и когда он умрет, я больше не буду ездить верхом…

Я почувствовал, что за этим милым оживле-

нием, за внешней непринужденностью Ивонны де Гале кроется то же нетерпение, та же тревога, что и у Мольна. Она говорила быстрее обычного. Ее щеки были румяны, но под глазами и на лбу, выдавая растерянность, проступала страшная бледность.

Мы решили привязать Белизера к дереву в небольшой рощице недалеко от дороги. Старый г-н де Гале, как всегда не говоря ни слова, вынул из седельной сумки недоуздок и привязал лошадь чуть ниже, чем следовало, как мне показалось. Я обещал тотчас же прислать с фермы сена, овса, соломы…

И мадмуазель де Гале пошла к лужайке — так же, подумалось мне, как она появилась когда-то на берегу пруда, где в первый раз увидел ее Мольн.

Ведя под руку отца, придерживая левой рукой полу широкого легкого плаща, она приближалась к гостям, и на лице ее было очень серьезное и вместе с тем удивительно детское выражение. Я шагал рядом. Участники пикника, успевшие разбрестись по лужайке, теперь быстро сходились вместе, чтобы приветствовать ее; в течение какой-то минуты все молча смотрели, как она идет к ним навстречу.

Мольн затерялся в группе молодежи, он ничем не выделялся среди товарищей, разве что своим ростом; впрочем, рядом с ним были юноши почти такие же высокие, как он. Ничем не выдал он своего напряжения, не шевельнулся, не шагнул вперед. Я видел, как он стоит неподвижно в своем сером костюме и вместе со всеми пристально смотрит на идущую к ним прелестную девушку. Он только провел рукой по непокрытой голове — бессознательным и каким-то смущенным движением, словно хотел спрятать среди этих аккуратно причесанных юношей свою по-крестьянски обритую голову.

Молодежь окружила мадмуазель де Гале. Ей стали представлять девушек и молодых людей, с которыми она еще не была знакома… Приближалась очередь Мольна; я был встревожен не меньше, чем он. Я рассчитывал, что сам представлю моего друга Ивонне де Гале.

Но прежде чем я успел раскрыть рот, девушка уже шагнула к нему с поразительной решимостью и серьезностью.

— Я узнаю Огюстена Мольна, — сказала она. И протянула ему руку.

Глава шестая
ПИКНИК
(Окончание)

Тут новые гости подошли поздороваться с Ивонной де Гале, и Мольна оттеснили в сторону. По несчастливому стечению обстоятельств, молодые люди и за обедом очутились за разными столами. Но к Мольну как будто вернулись надежда и смелость. Сидя между Делюшем и господином де Гале, я не раз видел, как мой товарищ дружески машет мне издали рукой.

Лишь к вечеру, когда повсюду стали понемногу завязываться игры и беседы, а кое-кто из гостей отправился на реку купаться или кататься по соседнему пруду в лодке, Мольн опять оказался в обществе молодой девушки. Сидя на садовых стульях, которые мы привезли с собой, мы болтали в компании с Делюшем, и в это время, с непринужденностью оставив группу молодежи, среди которой она, видно, скучала, Ивонна направилась к нам. Помнится, она спросила, почему мы не катаемся, как остальные, на лодках по пруду Обье.

— Мы сегодня уже сделали там несколько кругов. Но это слишком однообразное занятие, и мы быстро устали, — ответил я.

— Но тогда вы могли бы поехать по реке, — возразила она.

— Там очень сильное течение, лодку может унести.

— Тут пригодилась бы моторная лодка — сказал Мольн. — Или пароходик, как когда-то.

— У нас больше его нет, — проговорила она почти шепотом. — Мы его продали.

Наступило неловкое молчание.

Воспользовавшись этим, Жасмен заявил, что пойдет поищет г-на де Гале.

— Уж я-то знаю, где его найти, — сказал он. Ирония судьбы! Эти двое таких несхожих между собой людей неожиданно понравились друг другу и все утро были почти неразлучны. В самом начале пикника г-н де Гале отозвал меня в сторонку, чтобы сказать, что мой друг Делюш — это человек, наделенный тактом, почтительностью и прочими достоинствами. Мне кажется даже, что отставной моряк доверил ему тайну существования Белизера и раскрыл место, где тот был спрятан.

Когда Делюш ушел, я подумал было, что и мне

лучше удалиться, но Мольн и мадмуазель де Гале были так смущены и взволнованы, что я счел более благоразумным не оставлять их наедине друг с другом.

Однако и тактичный уход Жасмена и моя собственная осторожность были, пожалуй, излишни. Она начали разговор. Но Мольн с упорством, в котором он, конечно, не отдавал себе отчета, снова и снова заводил речь обо всем том чудесном, что поразило его когда-то в усадьбе. И каждый раз девушка, для которой эти воспоминания были пыткой, повторяла, что все исчезло, что старое здание, такое замысловатое и странное, снесено, огромный пруд высох и засыпан землей, а дети в прелестных костюмах разъехались по домам…

Мольн только тоскливо вздыхал в ответ с таким видом, словно во всех этих печальных событиях повинны были девушка или я…

Мы шли все трое рядом… Напрасно старался я переменить разговор и отогнать охватившую нас печаль. Не в силах противиться своей навязчивой идее, Мольн продолжал бестактные расспросы. Он требовал разъяснений решительно обо всем, что повидал в свое время в поместье: о девочках, о вознице старой берлины, о пони, участвовавших в скачках… «И пони тоже проданы? В Поместье

не осталось больше лошадей?..»

Она отвечала, что не осталось. О Белизере она не упомянула.

Тогда он стал припоминать, какие предметы находились в его комнате: канделябры, большое зеркало, старая разбитая лютня... Он спрашивал обо всем этом с непонятным жаром, будто хотел еще и еще раз убедиться, что от его волшебного приключения ничего не уцелело и что девушка не может предъявить ему даже обломка корабля-крушения, который подтвердил бы: нет, это не пригрезилось им обоим... Так водолаз приносит со дна камни и водоросли.

Мы с мадмуазель де Гале не могли удержать грустной улыбки; она решилась объяснить ему все до конца:

— Вы никогда больше не увидите прекрасного замка, который мы с отцом привели тогда в порядок для нашего бедного Франца. Вся наша жизнь была посвящена выполнению его прихотей. Он был таким странным, таким очаровательным существом! Но все вместе с ним исчезло в тот вечер несостоявшегося обручения.

К тому времени господин де Гале был уже разорен, хотя не говорил нам об этом. Франц наделал много долгов, и его бывшие товарищи, узнав об

его исчезновении, поспешили предъявить нам иск. Мы обеднели. Моя мать умерла. И скоро оказалось, что у нас нет больше друзей.

Пусть Франц вернется, — если, конечно, он жив; пусть он вновь обретет и прежних друзей, и невесту; пусть даже будет сыграна прерванная свадьба и все примет свой прежний вид, — все равно, разве можно вернуть прошлое?

— Кто знает? — сказал задумчиво Мольн. Больше он ни о чем не спрашивал.

Мы бесшумно ступали по короткой, уже слегка пожелтевшей траве, по правую руку от Огюстена шла рядом с ним девушка, которую он уже было считал потерянной для него навсегда. Когда он задавал безжалостные вопросы, она, отвечая, медленно поворачивала к нему свое милое встревоженное лицо; один раз, что-то говоря ему, она доверчивым и беззащитным движением нежно коснулась его руки… Почему же Большой Мольн вел себя как чужой, как человек, не нашедший того, что искал? Почему он казался таким безучастным? Приди к нему это счастье тремя годами раньше, — ведь он бы помешался от радости! Откуда же сейчас эта опустошенность, отчужденность, это неумение быть счастливым?

Мы подходили к роще, где утром господин де

Гале привязал Белизера; солнце, клонясь к закату, бросало на траву наши длинные тени; с дальнего конца лужайки, сливаясь в радостный гул, доносились, приглушенные расстоянием, голоса игравших детей, и мы молчали, зачарованные спокойствием вечера, как вдруг из-за леса, со стороны фермы Обье, стоявшей на берегу реки, раздалась песня. Пел далекий молодой голос, — верно, кто-то вел скотину на водопой; мелодия напоминала своим ритмом танцевальный напев, но певец придавал ей протяжность, словно грустной старинной балладе:

Красные туфли мои…
Прощай же, моя любовь…
Красные туфли мои…
Тебе не вернуться вновь…

Мольн поднял голову и стал прислушиваться. Это была одна из тех самых песенок, которые распевали подгулявшие крестьяне в Безымянном Поместье в последний вечер праздника, когда уже все пошло прахом… Еще одно воспоминание — самое горькое — о тех чудесных и безвозвратных днях…

— Вы слышите песню? — сказал вполголоса Мольн. — О, я пойду посмотрю, кто это поет.

И он тотчас же бросился в рощу. Вскоре песня оборвалась; еще секунду было слышно, как человек, удаляясь, свистом подгоняет животных. Потом все смолкло…

Я взглянул на девушку. Задумчивая и удрученная, смотрела она на заросли, в которых только что скрылся Мольн. Сколько еще раз ей придется задумчиво глядеть на дорогу, по которой навсегда уйдет Большой Мольн!

Она обернулась ко мне.

— Он несчастлив, — сказала она горестно.

И добавила:

— И, может быть, я не в силах ему помочь…

Я колебался, не зная, как ответить; я боялся, что Мольн, добежав быстро до фермы, уже возвращается лесом назад и может услышать наш разговор. Но мне хотелось подбодрить ее, сказать, чтобы она не боялась разговаривать с юношей посуровее, что, вероятно, его приводит в отчаянье какая-то тайна, которую он никогда не доверит по своей воле никому, даже ей; — как вдруг из глубины рощи раздался крик, потом мы услышали конский топот и резкие спорящие голоса… Я сразу сообразил: что-то произошло со старым Белизером, — и побежал в ту сторону, откуда доносился весь этот шум. Мадмуазель

де Гале побежала вслед за мной. Должно быть, и с лужайки заметили, что мы бежим, потому что, углубившись в заросли, я услышал за собой голоса догонявших нас людей.

У старого Белизера, привязанного слишком низко, запуталась в постромках передняя нога: он стоял неподвижно до тех пор, пока не увидел, что к нему, гуляя по роще, приближаются г-н де Гале и Делюш, а тогда, испуганный, придя в возбуждение от непривычного количества заданного ему овса, стал неистово биться; те двое попытались освободить лошадь, но действовали так неловко, что только запутали ее еще больше, при этом ежеминутно рискуя получить удар копытом. Но тут, возвращаясь с фермы Обье, на них случайно наткнулся Мольн. Придя в ярость от такой неловкости, он с силой оттолкнул обоих мужчин, едва не сбив их с ног. Осторожно, одним умелым движением, он освободил Белизера. Но слишком поздно, — зло уже свершилось: у коня было, вероятно, повреждено сухожилие, а быть может, и сломана кость, он стоял с жалким видом, низко опустив голову, со сползающим со спины седлом, прижав к брюху согнутую и дрожащую ногу. Мольн нагнулся и начал молча ощупывать животное. Когда он наконец выпрямился, вокруг

собрались почти все участники пикника. Но Мольн никого не видел. Он был в бешенстве.

— Не понимаю, кто мог так нелепо его привязать! — закричал он. — И на весь день оставить его под седлом! И кто вообще посмел оседлать эту несчастную старую тварь, годную разве лишь для легкой двуколки!

Делюш хотел ему что-то сказать, очевидно, собираясь взять вину на себя.

— Замолчи! — крикнул Мольн. — Ты больше всех виноват. Я видел, как ты по-дурацки тянул за веревку!

И, снова нагнувшись, он стал ладонью растирать коню сустав.

Господин де Гале, до сих пор молчавший, решил вмешаться, и это было с его стороны ошибкой.

— Морские офицеры привыкли… — пролепетал он. — Моя лошадь…

— Ах, так это ваша лошадь? — сказал Мольн, оборачиваясь к старику; юноша успел уже немного остыть, но его лицо все еще было красным.

Я думал, что Мольн переменит тон и извинится. Какое-то мгновение он молчал, тяжело дыша. Потом, решив, видимо, не отказывать себе в горьком удовольствии сжечь за собой корабли, он дерзко проговорил:

— Ну что ж, мне вас не с чем поздравить.

Кто-то робко подсказал:

— Может быть, холодная вода… Выкупать ее возле брода…

— Необходимо, — сказал Мольн, будто не слыша этой реплики, — сейчас же отвести эту старую лошадь домой, пока она еще в состоянии передвигаться. Нельзя терять ни минуты! Поставить ее в конюшню и больше никогда оттуда не выводить.

Несколько молодых людей тут же вызвались помочь. Но мадмуазель де Гале с живостью поблагодарила их и отказалась. Готовая расплакаться, с пылающим лицом, она попрощалась со всеми — и даже с Мольном, который, в сильном смущении, не смел поднять на нее глаза. Движением, каким протягивают руку человеку, она взяла лошадь за поводья — словно не для того, чтобы вести ее за собой, а чтобы подойти к ней поближе… Над саблоньерской дорогой дул ветерок, такой теплый, словно был май, а не конец лета, листья придорожных деревьев чуть вздрагивали… И она ушла, держа в своей узкой ручке, выпростанной из плаща, толстый кожаный повод. Рядом, с трудом переставляя ноги, шагал ее отец…

Печально закончился наш пикник! Каждый

стал потихоньку собирать свои свертки, посуду, сложили стулья, разобрали столы; повозки, нагруженные вещами и людьми, одна за другой выезжали на дорогу; над головами приподнимались шляпы, прощально мелькали платки. Последними на лужайке остались мы с Мольном и дядя Флорантен, который, хотя и молчал, не мог скрыть своей горечи и досады.

Но вот отправились и мы. Славный рыжий конь, лихо мчал нашу повозку, которая мягко покачивалась на рессорах; на поворотах под колесами поскрипывал песок.

Мы с Мольном смотрели с задней скамейки, как скрывается вдали проселочная дорога, по которой ушел дряхлый Белизер со своими хозяевами…

И тогда мой товарищ, всегда казавшийся мне человеком, который просто не умеет плакать, внезапно повернул ко мне свое потрясенное лицо, и я увидел, что к его глазам неудержимо подступают слезы:

— Остановите, пожалуйста! — сказал он, кладя руку на плечо Флорантена. — Не беспокойтесь обо мне. Я приду пешком.

И, опершись о крыло повозки, он одним прыжком соскочил на землю. К нашему изумлению, он

повернул назад, бросился бежать и не замедлял бега до самого проселка, который мы только что проехали, — до дороги на Саблоньер.

Он вошел в Поместье, должно быть, но той самой еловой аллее, по которой он уже шел однажды и где, путником, спрятавшимся среди низких веток, он услышал таинственный разговор прелестных незнакомых детей…

В тот же вечер, рыдая, он просил руки мадмуазель де Гале.

Глава седьмая
ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Начало февраля, четверг, — чудесный морозный день, сильный ветер. Часы бьют половину четвертого, потом четыре… На плетнях и изгородях вокруг поселков с полудня сушится на ветру белье. В каждом доме пылает в столовой камин, и пламя отражается в ярком глянце детских игрушек. Устав играть, ребенок садится рядом с матерью и просит ее рассказать о дне ее свадьбы.

Тот, кто не хочет быть счастливым, может подняться на чердак — там он до самого вечера будет слышать свист и вой, наводящие на мысль о кораблекрушении; стоит ему выйти за ворота, на дорогу, — и ветер ударит его концами шейного платка по губам, словно в нежданном жарком поцелуе, от которого на глазах выступают слезы. Но для того, кому дорого счастье, есть в усадьбе Саблоньер, у самого края топкой дороги, одинокий дом, куда мой друг Мольн вошел вместе с Ивонной де Гале, которая в полдень стала его женой.

Со дня помолвки прошло пять месяцев. Они

протекали мирно, — настолько же мирно, насколько бурной была первая встреча влюбленных. Мольн очень часто приезжал в Саблоньер, то на велосипеде, то в экипаже. Два-три раза в неделю мадмуазель де Гале, сидя за вышиванием или за книгой у большого окна, выходящего на равнину и еловые леса, вдруг видела, как мелькает за занавеской его высокий силуэт, ибо Мольн всегда приходил окольным путем — по аллее, которая когда-то впервые привела его сюда. Но то было с его стороны единственным — и притом молчаливым — намеком на прошлое. Казалось, счастье усыпило его странную тревогу.

Эти пять спокойных месяцев были отмечены несколькими незначительными событиями. Меня назначили учителем в деревушку Сен-Бенуа-де-Шан. Собственно говоря, Сен-Бенуа и не назовешь деревней. Это разбросанные среди полей фермы, и здание школы одиноко стоит на холме возле дороги. Я веду жизнь отшельника; но если идти напрямик, нолями, то за три четверти часа можно добраться до Саблоньера.

Делюш живет теперь во Вье-Нансее у своего дяди — каменщика, который берет подряды на строительные работы. Скоро Жасмен станет сам хозяином фирмы. Он часто навещает меня.

Мольн, уступив просьбам мадмуазель де Гале, держится с ним теперь очень любезно.

Вот почему сейчас, около четырех часов дня, когда приглашенные на свадьбу уже разъехались, мы с Делюшем все еще бродим в окрестностях.

Венчанье, обставленное самым скромным образом, состоялось ровно в полдень в бывшей усадебной часовне, которую не сломали и которая прячется среди елей на склоне ближнего холма. После короткого обеда мать Мольна, г-н Сэрель с Милли, Флорантен и другие гости сели в карету и уехали. Остались только мы с Жасменом…

Мы бредем по опушке леса, который тянется позади саблоньерского дома, обрамляя огромную залежь, где раньше было расположено снесенное ныне Поместье. Мы полны беспокойства — сами не зная почему и не решаясь в этом признаться. Тщетно пытаемся мы отвлечься от грустных мыслей и обмануть свою тревогу, показывая друг другу то заячью ямку, то свежие кучи песка, нарытые кроликами, то капкан, то след браконьера… Но, гуляя, мы снова возвращаемся к тому месту на краю зарослей, откуда виден безмолвный запертый дом…

Под большим окном, выходящим на еловую рощу, есть деревянный балкон, весь заросший

бурьяном, пригибающимся к земле под порывами ветра. На оконных стеклах мерцают отсветы пылающего в камине огня. Время от времени в окне мелькает тень. А кругом, в окрестных полях, на огородах, на одинокой ферме, оставшейся от старых служебных пристроек, — тишина и безлюдье. Арендаторы отправились в город, чтобы выпить за счастье своих хозяев.

Иногда ветер, насыщенный влагой, которая вот-вот выпадет на землю дождем, овевает наши лица и доносит чуть слышные звуки рояля. Там, в запертом доме, кто-то играет. Я на миг задерживаю шаг и пытаюсь вслушаться в тишину. Мне чудится, будто далекий трепетный голос едва решается излить свою радость в песне… Словно смех девочки, которая собрала в своей комнате все игрушки и разложила их перед своим другом… Я думаю также о робкой радости молодой женщины, которая, надев красивое платье, впервые показывается в нем, еще не зная, к лицу ли оно ей… Напев, которого я прежде не слышал, звучит словно молитва — как будто кто-то встал перед своим счастьем на колени и умоляет его не быть жестоким…

Я думаю: «Наконец-то они счастливы. Там, рядом с ней, — Мольн…»

Только это мне и нужно знать, только в этом я, добрый малый, должен быть уверен, — тогда я тоже буду счастлив.

Я стою так, поглощенный своими мыслями, с лицом, влажным от дующего с равнины ветра, словно от морских брызг, — и вдруг чувствую, как кто-то прикасается к моему плечу. Это Жасмен.

— Прислушайся! — говорит он тихо.

Я смотрю на него. Он делает мне знак не двигаться и тоже прислушивается, наклонив голову и нахмурив брови…

Глава восьмая
ЗОВ ФРАНЦА

— Уу-у!

На этот раз я расслышал. Этот сигнал, этот зов, состоящий из двух нот, высокой и низкой, кажется мне знакомым… Да, я вспоминаю: ведь так кричал возле школьной калитки долговязый циркач, окликая своего юного приятеля. И ведь мы поклялись Францу откликнуться на этот призыв, где бы и когда он ни раздался. Но почему звучит он именно здесь и именно сегодня? Что нужно Францу от нас?

— Кричат в большом ельнике, с левой стороны, — говорю я вполголоса. — Наверное, какой-нибудь браконьер.

Жасмен качает головой.

— Ты сам знаешь, что это не так.

И добавил еще тише:

— Они с утра бродят оба вокруг. В одиннадцать часов я застиг Ганаша, когда он выслеживал кого-то в поле, недалеко от часовни. Он удрал, как только заметил меня. Они приехали издалека — может быть, на велосипедах, потому что он

был по пояс в грязи.

— Но что же им нужно?

— Понятия не имею. Но их непременно надо спровадить отсюда. Нельзя, чтобы они шатались в этих местах. Иначе снова начнутся прежние выходки…

В глубине души я совершенно с ним согласен.

— Лучше всего, — говорю я, — было бы пойти к ним, узнать, чего они добиваются, и попытаться их как-нибудь урезонить.

И вот, пригибаясь, мы медленно и молчаливо продираемся сквозь заросли к еловому лесу, откуда с равномерными промежутками доносится протяжный крик, который сам по себе, может быть, и не печальнее любого другого крика, но нам он кажется зловещим предзнаменованием.

В этой части ельника деревья посажены ровными рядами, и глазу открывается далекое пространство между стволов, здесь трудно застигнуть человека врасплох, подойти к нему незамеченным. Мы даже и не пытаемся это сделать. Я занимаю пост в одном углу ельника, Жасмен идет в другой угол, — таким образом, у каждого из нас будут на виду две стороны прямоугольника, и ни один из бродяг не сможет от нас ускользнуть. Но вот позиции заняты, и я начинаю

играть роль парламентера. Я кричу:

— Франц!.. Франц, не бойтесь. Это я, Сэрель. Я хочу с вами поговорить…

Минута молчания. Я уже собираюсь повторить свой клич, но в это время из самой глубины ельника, куда почти не проникает взгляд, слышится приказание:

— Оставайтесь на месте — он сам подойдет к вам. Понемногу между большими елями, которые из-за дальности расстояния кажутся растущими совсем близко друг к другу, я начинаю различать силуэт идущего ко мне молодого человека. Он забрызган грязью и плохо одет; брюки схвачены внизу велосипедными зажимами, из-под старой фуражки с якорем виднеются давно не стриженные волосы. Теперь я вижу и его исхудавшее лицо… Похоже на то, что он недавно плакал.

Он подходит ко мне решительным шагом и заносчиво спрашивает:

— Что вам нужно?

— А вы-то сами что здесь делаете, Франц? Зачем вы приходите, зачем нарушаете покой тех, кто счастлив? Чего вы хотите? Отвечайте же.

От этого прямого вопроса он слегка краснеет и отвечает, запинаясь:

— Я… Я несчастлив, несчастлив.

И, прислонившись к дереву, опустив голову на руки, начинает горько рыдать. Вокруг полнейшая тишина. Даже голос ветра, задержанный большими елями на опушке, не проникает сюда. Между ровными шеренгами стволов отдается эхом, затихая вдали, звук приглушенных рыданий. Я жду, пока он немного успокоится, и говорю, положив руку ему на плечо:

— Франц, пойдемте со мной. Я отведу вас к ним. Они вас примут как блудного сына, который наконец вернулся, и все ваши горести исчезнут.

Но он ничего не желает слушать. В голосе его еще звучат слезы; несчастный, упрямый, злой, он принимается за свое:

— Значит, Мольн больше не думает обо мне? Почему он не отвечает, когда я его зову? Почему он нарушает свое обещание?

— Постойте, Франц, — отвечаю я, — время ребяческих выдумок и причуд давно позади. Не смущайте своим сумасбродством счастье тех, кого вы любите, — счастье вашей сестры и Огюстена Мольна.

— Но ведь только он и может меня спасти, вы ведь знаете. Лишь в его силах отыскать след, который я ищу. Вот уже почти три года, как мы с Ганашем колесим по всей Франции, — и все

напрасно. Я верю теперь только в нашего друга. А он больше не отзывается. Он-то нашел свою любовь. Почему же теперь он не думает обо мне? Он должен отправится в путь. Ивонна его отпустит… Она мне ни в чем никогда не отказывала.

Я вижу его лицо, пыльное, грязное, по которому слезы прочертили темные полосы, — измученное лицо до срока постаревшего подростка. Под глазами веснушки, подбородок небрит, длинные космы спадают на грязный воротник. Руки засунуты в карманы, он весь дрожит от холода. Передо мной уже не то царственное дитя в лохмотьях, каким он был прежде. Сердцем он, несомненно, еще больше ребенок, чем всегда: властный, взбалмошный, легко впадающий в отчаяние. Но больно видеть такое ребячество у взрослого парня… Прежде в нем было столько юного, гордого, что казалось, ему дозволено любое безумство на свете. Теперь прежде всего хотелось пожалеть Франца как неудачника; потом на язык просились упреки — настолько нелепой была роль романтического героя, за которую он так упорно цеплялся… Наконец трудно было отделаться от мысли, что наш великолепный Франц со своей возвышенной любовью вынужден, чтобы не умереть с голоду, заниматься воровством, как и

его приятель Ганаш… Такая гордость — и такое падение!

— Если я вам пообещаю, — говорю я после некоторого размышления, — что через несколько дней Мольн соберется в поход ради вас одного?..

— И он добьется удачи, правда? Вы в этом уверены? — спрашивает он, стуча зубами.

— Надеюсь. Для него нет ничего невозможного.

— А как я узнаю об этом? Кто мне скажет?

— Вы вернетесь сюда ровно через год, в этот самый час, и найдете здесь девушку, которую любите.

Говоря так, я и не думаю тревожить молодую чету, я рассчитываю разузнать все получше у тети Муанель и постараться самому разыскать девушку.

Бродяга смотрит мне в глаза с удивительной жаждой доверия. Пятнадцать лет, ему все еще пятнадцать лет, — не больше, чем было мне в тот вечер, когда, подметая класс в сент-агатской школе, мы все трое поклялись такой ужасной ребяческой клятвой!

Но вот им опять овладевает отчаянье. Он говорит:

— Ну что ж, пора уходить.

И, конечно, у него сжимается сердце, когда он смотрит на родные места, которые снова должен покинуть.

— Через три дня, — говорит он, — мы уже будет в Германии. Наши повозки остались далеко. Тридцать часов мы шли пешком, без остановки. Мы надеялись прийти вовремя, чтобы увести Мольна, пока венчание не состоялось, и отыскать вместе с ним мою невесту, как он отыскал поместье Саблоньер.

Потом на него снова находит приступ ребячества.

— Позовите вашего Делюша, — говорит он, уходя, — а то будет просто ужасно, если я с ним встречусь.

Его серая фигура медленно растворяется среди деревьев. Я зову Жасмена, чтобы продолжить нашу прогулку. Но почти тотчас мы замечаем вдали Огюстена Мольна, который вышел из дома закрыть ставни, и нас поражает что-то странное в его движениях.

Глава девятая
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

Потом я до мельчайших подробностей узнал, что произошло за это время…

После полудня Мольн и его жена, которую я по старой памяти называю мадмуазель де Гале, остались совершенно одни в гостиной саблоньерского дома. Когда все гости разъехались, старый г-н де Гале на секунду распахнул дверь, и в дом со стоном ворвался ветер; потом старик отправился во Вье-Нансей и должен был вернуться лишь к ужину, чтобы запереть все на ключ и отдать распоряжения на ферме. Ни один звук не проникал теперь снаружи. Только голая ветка шиповника стучала по окну, выходившему на равнину. Дом словно плыл по течению, подгоняемый зимним ветром, и в нем наедине со своим счастьем замкнулись двое влюбленных.

— Огонь вот-вот погаснет, — сказала мадмуазель де Гале, направляясь к ларю, чтобы достать оттуда полено.

Но Мольн опередил ее и сам положил дрова в камин.

Потом он взял протянутую ему руку, и оба застыли друг против друга, задыхаясь, точно пораженные великой вестью, которой не выразить словами.

Снова стал слышен ветер, кативший свои волны, как река в половодье. Время от времени капли дождя прочерчивали по диагонали стекло, словно окно летящего поезда.

Но вот девушка отняла свою руку. Открыла дверь, выходящую в коридор, и исчезла с таинственной улыбкой. На минуту Огюстен остался в полумраке комнаты один…

Тиканье маленьких стенных часов напомнило ему столовую в Сент-Агате… Наверное, он подумал: «Вот он дом, который я так искал, и в этом самом коридоре когда-то слышался шепот и пробегали странные существа…»

Должно быть, в этот момент он и услышал — мадмуазель де Гале говорила мне потом, что и она услышала тоже, — клич Франца, раздавшийся возле самого дома.

И теперь молодая жена могла сколько угодно показывать ему всякие чудесные вещи, которые она внесла в комнату: игрушки, которыми она играла, когда была маленькой девочкой, все свои детские фотографии — в костюме маркитантки,

и вместе с Францем на коленях у матери которая была так красива, и все, что сохранилось от ее милых детских платьиц: «А вот это, взгляните, я носила незадолго до нашего знакомства, наверное, в то самое время, когда вы впервые приехали в Сент-Агат…» — Мольн уже ничего не видел и ничего не слышал.

Правда, на какую-то минуту он, казалось, снова вспомнил о своем необыкновенном, невообразимом счастье.

— Вы рядом со мной, — сказал он глухим голосом, как будто от одних этих слов у него начинала кружиться голова, — вы проходите мимо стола и на миг прикасаетесь к нему рукою…

И еще:

— Когда моя мать была молодой, она вот так же чуть наклонялась вперед, разговаривая со мной… А когда она садилась за рояль…

Мадмуазель де Гале предложила что-нибудь сыграть до наступления ночи. Но в том углу гостиной, где стоял рояль, было темно, и пришлось зажечь свечу. Розовый абажур перед лицом девушки еще больше подчеркивал яркий румянец, проступавший у нее на скулах и выдававший затаенную тревогу.

Тогда-то и донеслась ко мне на лесную опуш-

ку трепетная мелодия, подхваченная ветром и вскоре прерванная вторичным криком двоих безумцев, которые подкрались к нам в ельнике.

Мольн долго слушал игру девушки и молча смотрел в окно. Несколько раз он оборачивался и взглядывал на нежное лицо, полное усталости и беспокойства. Потом подошел к Ивонне и легко положил руку ей на плечо. Она почувствовала возле самой шеи ласковое прикосновение, но не знала еще, как отвечают на ласку.

— Темнеет, — сказал он наконец. — Я выйду закрою ставни. Только прошу вас, продолжайте играть…

Что творилось тогда в этом странном, нелюдимом сердце? Я часто задавал себе этот вопрос, но ответ на него пришел слишком поздно. Терзали его неведомые угрызения совести? Необъяснимые сожаления? Боязнь увидеть, как тает в руках небывалое счастье, которое он так крепко держал? И вслед за тем — ужасное искушение: совершить неисправимое, тут же, сейчас же бросить, разбить о землю завоеванное им чудо?..

Он еще раз взглянул на свою молодую жену и вышел — медленно и бесшумно. Остановившись на опушке леса, мы с Жасменом увидели, как он сперва нерешительно затворил один ставень,

растерянно посмотрел в сторону леса, закрыл второй — и внезапно бросился со всех ног по направлению к нам. Он добежал до нас прежде, чем нам пришло в голову снова спрятаться. Он заметил нас в тот момент, когда собирался перепрыгнуть через невысокую изгородь, которой был недавно обнесен луг. Он отскочил в сторону. Я припоминаю его растерянный вид: в его движениях было что-то от затравленного зверя… Он притворился, что возвращается назад; вероятно, он решил перелезть через изгородь в другом месте, возле маленького ручья.

Я позвал его:

— Мольн!.. Огюстен!..

Он даже не оглянулся. Тогда, убежденный, что только этим можно его удержать, я крикнул:

— Франц здесь. Погоди!

Он остановился. Задыхаясь, не дав мне собраться с мыслями, он спросил:

— Он здесь? Что ему нужно?

— Он несчастлив, — ответил я. — Он пришел просить твоей помощи, — помочь ему отыскать то, что он потерял.

— А! Так я и думал, — сказал он, опуская голову. — Как мне хотелось заглушить в себе эту мысль!.. Но где же он? Говори скорее.

Я сказал, что Франц только что уехал и что теперь его уже не догнать. Для Мольна это было ударом. Не зная, что делать, он прошел несколько шагов, потом остановился. Казалось, его тоска и нерешительность достигла предела. Тогда я сказал, что дал от его имени молодому человеку обещание и назначил ему встречу через год на том же месте.

Обычно спокойный и уравновешенный, Огюстен пришел в необычайное возбуждение.

— Эх, зачем ты это сделал! — сказал он нетерпеливо. — Ну, конечно, я могу его спасти. Но действовать надо немедленно. Я должен его повидать, поговорить с ним, чтобы он простил меня и чтобы я все поправил… Иначе я не смогу больше прийти туда.

И он обернулся к саблоньерскому дому.

— Значит, из-за какого-то ребяческого обещания ты готов разрушить свое счастье?

— О, если бы дело шло только об этом обещании! — проговорил он.

Так я впервые узнал, что, кроме клятвы, двух юношей связывает еще что-то другое, — но что это было, я не мог догадаться.

— Во всяком случае, — сказал я, — теперь нет смысла бежать вдогонку. Они уже на пути в Гер-

манию.

Он собирался ответить, но в этот миг перед нами выросла фигура — растрепанная, растерзанная, с блуждающим взором. Это была мадмуазель де Гале. Должно быть, она бежала, потому что лицо ее было в поту. Должно быть, она упала и расшиблась, ибо над правым глазом у нее виднелась ссадина, а в волосах запеклась кровь.

Мне пришлось как-то видеть на улице, в бедном квартале Парижа, как полицейские разнимают дерущуюся супружескую чету; вся улица считала, что они живут дружно, счастливо и согласно. Ссора вспыхнула внезапно — то ли когда садились за стол, то ли в воскресенье, перед выходом на прогулку, или когда поздравляли с праздником своего малыша, — и вот уже все хорошее забыто, все растоптано. Муж и жена в ходе перебранки превращаются в сущих дьяволов, и дети с плачем кидаются к ним, прижимаются, умоляют замолчать и больше не драться.

Когда мадмуазель де Гале подбежала к Мольну, она показалась мне одним из этих детей — бедным, обезумевшим от горя ребенком. Я думаю, что, если бы на нее смотрели все знакомые, вся деревня, все люди вокруг, — она все равно бросилась бы бежать за ним, и бежала бы, и па-

дала, плачущая, растрепанная, перепачканная в земле.

Но когда она поняла, что Мольн здесь, что, по крайней мере на этот раз, он не покинет ее, — она взяла его под руку и, вся еще в слезах, засмеялась, как малый ребенок. Оба не сказали ни слова. Но когда она вынула носовой платок, Мольн ласково отнял его и бережно, осторожно стал вытирать кровь с ее волос.

— А теперь пора домой, — сказал он.

И они пошли под зимним ветром, хлеставшим прямо в лицо, он — в опасных местах поддерживая ее под руку, она — торопясь и улыбаясь, — пошли к своему ненадолго покинутому дому.

Глава десятая
«ДОМ ФРАНЦА»

Весь во власти тревожных предчувствий, которых не смог до конца успокоить мирный исход этой бурной сцены, я вынужден был весь следующий день безвылазно просидеть в школе. Но как только закончился последний вечерний урок, я отправился в Саблоньер. Уже темнело, когда я добрался до еловой аллеи, ведущей к дому. Все ставни были закрыты. Я не хотел быть назойливым, врываясь в такой поздний час к людям, которые только вчера поженились. Я еще довольно долго бродил вокруг сада и по соседним пустырям, надеясь, что кто-нибудь выйдет из запертого дома… Но моя надежда была напрасной… Даже соседняя ферма казалась вымершей. И, преследуемый самыми мрачными мыслями, я вернулся домой.

Назавтра, в субботу, — та же неизвестность. Вечером я второпях схватил свою пелерину, палку, кусок хлеба на дорогу и с наступлением темноты снова оказался перед запертым, как и накануне, саблоньерским домом… В окне второго

этажа виднелся слабый свет, но все внутри было по-прежнему тихо и недвижно. Правда, на этот раз я заметил, что дверь на ферме открыта, в большой кухне горит огонь, и оттуда доносятся голоса и шаги — звуки, обычные для часа, когда семья садится ужинать. Это меня несколько успокоило, но ровно ничего не объяснило. Не мог же я расспрашивать чужих людей. И мне пришлось опять ходить в темноте, выжидая и тщетно надеясь, что вот-вот распахнется дверь, и я увижу высокую фигуру Огюстена.

Только в воскресенье, в середине дня, решился я наконец позвонить у дверей саблоньерского дома. Я шел к поместью, карабкаясь по голым холмам; где-то вдали звонили к вечерне. Я чувствовал себя одиноким и несчастным. Меня одолевали печальные предчувствия. И когда на мой звонок в дверях появился г-н де Гале и сказал почти шепотом, что Ивонна лежит в сильнейшем жару, а Мольн уехал в пятницу утром в дальнее путешествие и неизвестно, когда вернется, — для меня это не было большой неожиданностью…

И поскольку старик, растерянный и огорченный, не предложил мне войти, я тут же откланялся. Когда дверь закрылась, я с минуту стоял на крыльце в полном смятении; сам не зная по-

чему, я смотрел на стебель засохшей глицинии, который тоскливо качался на ветру, освещенный солнечным лучом, и у меня сжималось сердце.

Значит, таинственные угрызения совести, которые мучили Мольна со времени его возвращения из Парижа, все-таки взяли верх. И мой друг в конце концов бежал прочь от собственного счастья…

Каждый четверг, каждое воскресенье приходил я справляться о здоровье Ивонны де Гале, пока она наконец, оправившись от болезни, однажды вечером не пригласила меня войти. Я застал ее сидящей у камина, в комнате, единственное большое окно которой выходило в сторону поля и леса. Она была совсем не бледна, как я ожидал, а наоборот, как будто в лихорадке, на скулах у нее пылал яркий румянец, выдававший крайнее возбуждение. Она выглядела еще очень слабой, но оделась так, точно собиралась выйти из дому. Говорила она мало, но каждую фразу произносила удивительно оживленно, будто стараясь убедить самое себя, что счастье еще не потеряно… Я не запомнил, о чем мы с ней говорили. Вспоминаю только, что после некоторого колебания я спросил, когда она ждет возвращения Мольна.

— Я не знаю, когда он вернется, — ответила она

с живостью.

В глазах ее я прочел немую мольбу и больше уже ни о чем ее не расспрашивал.

Я часто навещал ее. Часто беседовал с ней у огня в гостиной с низким потолком, где начинало темнеть раньше, чем в других комнатах. Ни разу не заговаривала она ни о себе, ни о своем затаенном горе. Но она самым подробным образом расспрашивала меня о нашей школьной жизни в Сент-Агате.

Серьезно, ласково, чуть ли не с материнским вниманием слушала она рассказ о горестях больших детей, какими мы тогда были. Казалось, ее не удивляли даже самые рискованные, самые дерзкие наши выходки. Та нежная заботливость, которую ей приходилось постоянно проявлять к г-ну де Гале, так же не была ей в тягость, как и прискорбные поступки брата. Думая о прошлом, она, вероятно, сожалела лишь об одном: что не сумела завоевать до конца доверия своего брата и что в минуту отчаянья он не посмел открыться перед ней и счел свое положение безвыходным. Только теперь я до конца понимаю, какое двойное бремя взвалила жизнь на плечи молодой женщины: тяжкое бремя служить поддержкой взбалмошному уму своего брата, непосильное

бремя делить все радости и печали с отважным сердцем моего друга, Большого Мольна.

Однажды она дала мне самое трогательное и, я бы даже сказал, самое таинственное доказательство того, что она по-прежнему хранит веру в детские вымыслы своего брата и стремится во что бы то ни стало сберечь хоть крохи тех миражей, среди которых он жил до двадцатилетнего возраста.

Был по-осеннему хмурый апрельский вечер. До этого почти месяц стояла теплая весенняя погода, и молодая женщина совершала вместе с отцом дальние прогулки, которые она всегда так любила. Но в тот день старик сказался уставшим, а я был свободен, и, несмотря на ненастье, она попросила меня составить ей компанию. В полумиле от Саблоньера, когда мы шли берегом пруда, нас настигла гроза с дождем и градом. Мы укрылись под навесом, защитившим нас от ливня, но не от порывов ледяного ветра, и задумчиво смотрели на почерневшие поля. Она была в простом строгом платье, встревоженная, бледная.

— Нужно вернуться, — сказала она. — Мы уже так давно вышли из дому. Мало ли что могло за это время случиться.

Но когда дождь утих, и мы смогли наконец

покинуть свое убежище, молодая женщина, вместо того чтобы повернуть назад, к Саблоньеру, пошла, к моему удивлению, вперед, приглашая меня следовать за ней. Мы шли довольно долго и очутились возле незнакомого мне дома; он одиноко стоял у края ухабистой дороги, которая, должно быть, вела в Превераж. Дом был небольшой, городского вида, крытый шифером, и ничем не отличался от принятых в этих местах построек, разве что стоял далеко на отшибе.

Глядя на Ивонну де Гале, можно было подумать, что этот дом принадлежит нам и мы в него возвращаемся после долгой отлучки. Нагнувшись, она открыла маленькую решетчатую калитку, торопясь поскорее взглянуть, все ли в порядке. Большой, заросший травой двор, где, должно быть, в долгие зимние вечера играли дети, был весь изрыт недавним ливнем. В луже мокнул обруч. В палисадниках, где дети посадили цветы и горох, все было смято и размыто дождем, засыпано белым гравием. И наконец, у самого порога отсыревшей двери мы наткнулись на целый выводок насквозь промокших цыплят. Почти все они лежали мертвыми под закоченевшими крыльями и измытыми перьями наседки.

При этом жалком зрелище у молодой женщины

вырвался приглушенный крик. Она наклонилась и, не обращая внимания на сырость и грязь, стала отделять живых цыплят от погибших и складывать их в подол своего плаща. Потом она открыла дверь своим ключом, и мы вошли. В узкий коридор, по которому со свистом гулял ветер, выходило четыре двери. Ивонна де Гале открыла первую дверь направо и пригласила меня в темную комнату; когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидел большое зеркало и маленькую кровать, накрытую на деревенский манер красной шелковой периной. Тем временем, что-то поискав в других комнатах, Ивонна вернулась ко мне, неся больных цыплят в устланной пухом корзинке, и осторожно поставила ее под перину. На минуту сквозь облака пробился вялый солнечный луч, первый и последний за весь этот день; наши лица стали от этого еще бледнее, а вечер еще более мрачным. Так стояли мы, продрогшие и взволнованные, в этом странном доме.

Время от времени она заглядывала в беспокойное гнездо, чтобы вынуть еще одного мертвого цыпленка и не дать умереть остальным. И каждый раз нам слышалась какая-то безмолвная жалоба — точно стон ветра в разбитом окне чердака, точно плач незнакомых детей от неве-

домого горя.

— Когда Франц был маленьким, это был его дом, — сказала моя спутница. — Он захотел иметь свой собственный дом, для себя одного, вдали от всех, дом, куда бы он мог прийти в любой момент — играть, развлекаться, даже жить. Отцу эта фантазия показалась необычной и такой забавной, что он не смог отказать Францу. И Франц забирался сюда когда вздумается, — в воскресенье, в четверг или в любой другой день — и жил в своем доме, как взрослый. К нему приходили дети с окрестных ферм, играли с ним, помогали вести хозяйство, работать в саду. Чудесная была игра! Наступал вечер, и он ничуть не боялся и, совершенно один во всем доме, ложился спать. А мы им восхищались и не думали за него беспокоиться…

— Теперь дом опустел, — продолжала она со вздохом. — Господин де Гале разбит старостью и горем, он так ничего и не предпринял, чтобы разыскать моего брата. Да и что может он сделать?

А я здесь часто бываю. Крестьянские ребятишки с соседних ферм, как и прежде, приходят сюда поиграть во дворе. И мне нравится думать, что это — прежние приятели Франца, что и сам он еще мальчик, что скоро он вернется с невестой,

которую для себя выбрал…

Дети хорошо меня знают. Я с ними играю. Это они принесли сюда цыплят…

Понадобился ливень, понадобился весь этот переполох с цыплятами, чтобы она поделилась наконец со мной огромным горем, о котором до сих пор не говорила ни слова, своей тоской по пропавшему брату, таком шальном, таком очаровательном и любимом. Молча, с трудом сдерживая слезы, слушал я ее рассказ…

Закрыв двери и калитку, посадив цыплят в дощатый шалаш позади дома, она печально оперлась о мою руку, и я проводил ее в Саблоньер.

Пролетели недели, месяцы. Где ты, прошлое? Где ты, утерянное счастье? На мою долю выпало брать за руку ту, что была феей, принцессой, таинственной любовью всего нашего отрочества, и искать для нее слова утешения, в то время как мой друг бродил неизвестно в каких краях. Что могу я рассказать теперь об этой поре, о беседах по вечерам, после того как в школе на холме Сен-Бенуа-де-Шан кончались уроки, о прогулках, во время которых нам хотелось говорить только об одном — о том самом, о чем мы решили молчать? В моей памяти смутно сохранились только черты милого исхудавшего лица, да устремленные на

меня глаза, которые медленно опускают веки, словно видят только свой внутренний мир.

Я был ей верным товарищем — товарищем по ожиданию, о котором мы никогда не говорили, на протяжении всей весны и всего лета; никогда больше не будет в моей жизни такой дружбы. Много раз приходили мы под вечер к дому Франца. Она открывала дверь, чтобы проветрить комнаты, чтобы ничто в доме не отсырело к тому времени, когда вернется молодая чета. Она возилась с одичавшими курами, которые ютились на заднем дворе. А по четвергам и воскресеньям мы участвовали в играх крестьянских детей, от чьих криков и смеха маленький заброшенный дом казался еще более пустым и безлюдным.

Глава одиннадцатая
РАЗГОВОР ПОД ДОЖДЕМ

Пришел август, и каникулы разлучили меня с Саблоньером и его молодой хозяйкой. Два месяца своего отпуска я провел в Сент-Агате. Опять я увидел просторный высохший двор, площадку для игр, пустой класс… Все напоминало мне здесь о Большом Мольне. Все дышало воспоминаниями об ушедшем отрочестве. В эти долгие тусклые дни я, как прежде, до знакомства с Мольном, запирался в архиве мэрии или в пустынных классах. Я читал, писал, вспоминал… Отец был где-то далеко, на рыбной ловле. Милли сидела в гостиной, шила или играла на рояле, как в нору моего детства. В классе стояла мертвая тишина; обрывки зеленых бумажных венков, куски оберточной бумаги из-под дорогих книг, вытертые губкой классные доски — все говорило о том, что год окончился и награды распределены, все было полно ожиданием осени, октября, начала нового учебного года и новых трудов; я думал о том, что кончилась и наша юность, а счастье так и не пришло; я тоже ждал — ждал своего возвращения

в Саблоньер и приезда Мольна, который, быть может, никогда не вернется…

И все же когда Милли принялась расспрашивать меня о молодой жене Мольна, я смог сообщить ей и счастливую новость. Я боялся ее расспросов, ее манеры с невинно-лукавым видом внезапно повергать вас в растерянность, будто указывая пальцем на ваши самые потаенные мысли. Я быстро закончил разговор, объявив, что жена моего друга в октябре станет матерью.

Я хорошо помнил день, когда Ивонна де Гале поделилась со мной этой великой новостью. Выслушав ее, я был немного смущен. После короткого молчания, забыв, какую боль могут причинить ей мои слова, я опрометчиво спросил:

— Вы, должно быть, счастливы?

— Да, очень счастлива, — ответила она с чудесной, светлой улыбкой, и в ее словах не было и тени горечи, сожаления или злопамятства.

Наступила последняя неделя каникул, — эти прекрасные, полные романтики дни, когда идут дожди и в домах начинают топить камины, я обычно проводил во Вье-Нансее, шагая с охотничьим ружьем по мокрым и почерневшим еловым лесам, но на этот раз я решил вернуться прямо в

Сен-Бенуа-де-Шан, минуя Вье-Нансей. Я боялся, что Фирмен, и тетя Жюли, и все кузины начнут задавать мне слишком много вопросов, отвечать на которые мне совсем не хотелось. И, отказавшись от восьми упоительных дней охотничьей жизни, я вернулся в свою школу за четыре дня до начала занятий.

Вечерело, когда я въехал во двор, уже покрытый желтыми листьями. Отпустив возницу, я вошел в гулкую, пропитанную затхлым духом столовую и принялся уныло распаковывать сверток с едой, которую приготовила мне мама... Перекусив на скорую руку, я надел пелерину, с тревожной душой вышел из дому и отправился на исполненную лихорадочного возбуждения прогулку, которая привела меня к Саблоньеру.

Мне не хотелось вторгаться туда незваным гостем в первый же вечер моего прибытия. Однако, чувствуя в себе больше смелости, чем в феврале, я обошел вокруг всю усадьбу, где светилось только одно окно — окно в комнате молодой женщины, потом перелез через садовую ограду позади дома и сел на скамью возле живой изгороди; я сидел в сгущавшейся темноте и чувствовал себя счастливым просто потому, что находился рядом с людьми, чья жизнь занимала и тревожила меня

больше всего на свете.

Приближалась ночь. Заморосил мелкий дождь. Опустив голову, я смотрел, как мокнут и начинают влажно блестеть мои башмаки, но думал совсем о другом. Темнота надвигалась медленно, и прохлада, незаметно охватывая меня, не нарушала моей задумчивости. С грустной нежностью представлял я себе улицы Сент-Агата, мокрые и грязные в этот сентябрьский вечер, окутанную туманом площадь, приказчика из мясной лавки, который, насвистывая, идет за водою к насосу, освещенное кафе и повозку с целым лесом раскрытых над ней зонтиков, которая за неделю до конца каникул весело подъезжает к дому дяди Флорантена… И я говорил себе: «Зачем мне вся эта радость, если Мольн, мой друг, и его жена не знают счастья…»

В этот самый миг, подняв голову, я увидел ее в двух шагах от скамьи. Я не заметил, как она подошла; ее ботинки ступали по песку с едва слышным хрустом, который я принял за шорох дождевых капель. Она накинула на голову и плечи большую черную шаль, дождь словно припудрил волосы над ее лбом. Должно быть, она увидела меня из своей комнаты, через окно, смотрящее в сад. И вышла ко мне. Так, когда-то в

детстве, моя мать беспокоилась и приходила за мною, чтобы сказать: «Пора домой», — но, войдя во вкус прогулки под ночным дождем, только ласково говорила: «Ведь ты простудишься», — и оставалась со мной, а потом мы долго болтали с ней в темноте…

Ивонна де Гале протянула мне горячую руку, потом, видно раздумав возвращаться в дом, выбрала на старой замшелой скамье местечко посуше и села. Я стоял рядом, опираясь коленом о скамью и, немного наклонившись вперед, слушал ее.

Сначала она дружески побранила меня за то, что я сократил свои каникулы.

— Я должен был вернуться пораньше, чтобы скрасить ваше одиночество, — отвечал я.

— Да, это так, — сказала она негромко и вздохнула, — я все еще одна. Огюстен не вернулся…

Приняв этот вздох за приглушенный скорбный упрек, я стал медленно говорить:

— Сколько безрассудства в этой благородной голове! Видно, вкус к приключениям оказался сильнее всего остального…

Но молодая женщина прервала меня. И здесь, в этот осенний вечер, она в первый и последний раз завела речь о Мольне.

— Не надо так говорить, Франсуа Сэрель, друг мой, — сказала она ласково. — Мы сами — я сама виновата во всем. Подумайте, что мы натворили… Мы сказали ему: вот оно, счастье, вот то, что ты искал всю свою юность, вот девушка, которая была венцом твоих грез! Мы насильно подталкивали его! Как мог он после этого не поддаться сомнениям, потом страху, потом ужасу, как мог он устоять против искушения бежать?

— Ивонна, — сказал я тихо, — но ведь вы и были для него этим счастьем, этой единственной в мире девушкой… Вы это сами знаете…

— Ах нет, — вздохнула она. — Как могла хоть на минуту прийти ко мне эта высокомерная мысль! Именно она, эта мысль, причина всему… Помните, я вам сказала: «Может быть, я не в силах ему помочь». А втайне я думала: «Ведь он меня так искал, и я люблю его. Значит, он будет счастлив со мной». Но когда я увидела его рядом, встревоженного, возбужденного, терзаемого таинственными сожалениями, я поняла, что я такая же бедная женщина, как все прочие… «Я не достоин тебя», — повторял он наутро после свадебной ночи. Я старалась утешить его, успокоить. Но его тоска не унималась. Тогда я сказала: «Если тебе нужно уехать, если ты повстречал меня в тот

момент, когда ничто не может дать тебе счастья, если тебе нужно покинуть меня на время, чтобы потом вернуться умиротворенным, — тогда я сама прошу: уезжай…»

Я увидел в темноте, как она подняла ко мне глаза. Это была ее исповедь, и она тревожно ждала, одобрю ли я или осужу ее. Но что я мог сказать? Я представил себе прежнего Большого Мольна, нескладного и нелюдимого, готового скорее перенести наказание, чем извиниться, чем просить на что-нибудь разрешения, которое наверняка было бы ему дано… Вероятно, Ивонна де Гале сделала бы лучше, если бы проявила силу, если бы обхватила руками его голову и сказала: «Какое мне дело до того, что ты натворил, я люблю тебя, какой мужчина безгрешен!» Вероятно, она совершила большую ошибку, когда из благородства и самопожертвования толкнула его снова на путь приключений… Но разве мог осудить я такую доброту, такую любовь!..

Мы долго молчали, взволнованные до глубины души, и слушали, как стучит холодный дождь по изгороди и веткам.

— Он ушел утром, — продолжала она. — Отныне нас ничто не разделяло. И он обнял меня просто как муж, который прощается с молодой

женой перед отъездом в дальнюю дорогу…

Она встала. Я взял ее пылающую руку, поддержал ее под локоть, и мы пошли по темной аллее.

— И он ни разу не написал вам? — спросил я.

— Ни разу, — ответила она.

Тогда, одновременно подумав о том, что делает в этот час Мольн, какие приключения ждут его на дорогах Франции или Германии, мы стали говорить о нем так, как никогда еще не говорили. Медленно двигаясь к дому, останавливаясь чуть ли не на каждом шагу, мы делились былыми впечатлениями, припоминали полузабытые мелочи. И долго еще звучал в темноте нежный голос молодой женщины, и сам я, с прежней восторженностью, с чувством глубокой дружбы, без устали говорил и говорил о человеке, который покинул нас…

Глава двенадцатая
ТЯЖКАЯ НОША

Занятия в школе должны были начаться в понедельник. В субботу, около пяти часов вечера, в школьный двор, где я пилил на зиму дрова, вошла женщина. Она пришла с вестью, что в Саблоньере родилась девочка. Роды были тяжелыми. Накануне вечером, в девять часов, послали в Превераж за акушеркой. В полночь пришлось снова запрягать — ехать во Вьерзон, за врачом. Он вынужден был наложить щипцы. У девочки ранена головка, она все время кричит, но жизнь ее как-будто вне опасности. Ивонна де Гале очень слаба, но она проявила удивительное мужество и терпение.

Я бросил работу, побежал в дом, переоделся и пошел вместе с доброй женщиной в Саблоньер, радуясь этим новостям. Осторожно, боясь потревожить мать или ребенка, я поднялся но узкой деревянной лестнице на второй этаж. Там меня встретил г-н де Гале; у него был измученный, но счастливый вид; он пригласил меня в комнату, куда временно поставили колыбельку новорож-

денной, со всех сторон закрытую занавесками.

Мне никогда еще не приходилось бывать в доме, где только что родился ребенок. Все казалось мне таким удивительным, таким таинственным и чудесным! Вечер был теплый — настоящий летний вечер, — г-н де Гале не побоялся открыть окно, которое выходило во двор. Облокотившись рядом со мной на подоконник, вздыхая от усталости и от счастья, он стал рассказывать мне о драматических событиях минувшей ночи; слушая его, я все время ощущал непривычное присутствие в комнате нового существа…

За занавесками раздался крик, пронзительный и протяжный… И г-н де Гале сказал мне вполголоса:

— Эта рана на головке так мучит ее…

Он стал качать маленький сверток за занавесками; по его машинальным движениям было видно, что он делает это с самого утра и успел привыкнуть к своим обязанностям.

— Она уже улыбается и хватает меня за палец, — сказал он. — Да вы ведь еще не видели ее?

Он раздвинул занавески, и я увидел крохотное личико, красное, сморщенное, и маленькую удлиненную головку, обезображенную щипцами.

— Это пустяки, — заверил меня г-н де Гале. —

Доктор сказал, что со временем все пройдет само собой… Дайте-ка ей палец, вы увидите, как она его схватит.

Передо мной словно открылся неведомый мир. Сердце наполнилось странным радостным чувством, которого я раньше не знал…

Господин де Гале осторожно приоткрыл дверь в комнату молодой женщины. Она не спала.

— Можете войти, — сказал он.

Она лежала с горящим лицом; по подушке разметались светлые волосы. Устало улыбнувшись, она протянула мне руку. Я поздравил ее с чудесной дочерью. Она ответила чуть охрипшим голосом, в котором слышалась необычная для нее суровость — суровость человека, вернувшегося с поля боя:

— Да, но мне ее немного испортили…

И опять улыбнулась.

Я скоро ушел, чтобы не утомлять ее.

Назавтра, в воскресенье, в середине дня, я с радостным чувством поспешил в Саблоньер. Поднеся руку к звонку, я вдруг заметил прикрепленную к двери записку:

ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ

Я не понял в чем дело. Довольно сильно постучал. За дверью послышались торопливые приглушенные шаги. Мне открыл незнакомый человек — врач из Вьерзона.

— Скажите, что случилось? — быстро спросил я.

— Тсс! Тсс! Девочка ночью едва не умерла. И с матерью очень плохо, — шепнул он с сердитым видом.

В полном расстройстве чувств я на цыпочках поднялся вслед за ним на второй этаж. Девочка спала в своей колыбели, бледная как смерть, белая как полотно. Врач считал, что ему удалось ее спасти. Что касается матери, он не может ни за что поручиться… Увидев во мне единственного друга семьи, он пустился в пространные объяснения. Говорил о воспалении легких, закупорке сосудов. Он колебался, он не был уверен… Вошел г-н де Гале, страшно постаревший за двое суток, растерянный, дрожащий. Он провел меня в соседнюю комнату, сам не слишком понимая, что делает, и сказал шепотом:

— Нельзя ее пугать, врач велел внушать ей, что все хорошо.

Ивонна де Гале лежала, запрокинув голову, как накануне; к лицу прилила кровь, щеки и лоб

были пунцовыми, глаза по временам блуждали, точно ее что-то душило; с невыразимой кротостью и мужеством боролась она со смертью.

Не в состоянии говорить, она протянула мне свою пылающую руку, и в этом движении было столько дружбы, что я чуть не разрыдался.

— Ну, ну, — сказал г-н де Гале очень громко, с жуткой шутливостью, смахивавшей на безумие, — видите, она не так уж плохо выглядит, наша больная!

Не зная, что ответить, я держал в ладонях горячую руку умирающей…

Она силилась сказать мне что-то, о чем-то попросить; она обратила взгляд на меня, потом показала глазами на окно, будто хотела, чтобы я вышел на улицу и позвал кого-то… Но тут у нее начался страшный приступ удушья; ее прекрасные синие глаза, которые только что так трагически звали меня, теперь закатились, щеки и лоб потемнели, она задрожала, забилась, стараясь сдержать стоны ужаса и отчаяния. К ней кинулись врач и сиделка с кислородным баллоном, салфетками, флаконами, а старик, склонившись над ней, закричал — закричал так, словно она уже была далеко от него, хриплым и дрожащим голосом:

— Не пугайся, Ивонна. Ничего страшного. Тебе нечего бояться!

Приступ скоро прошел. Она получила возможность немного передохнуть, но все еще задыхалась, запрокинув голову; она продолжала бороться, но была не в состоянии даже на миг взглянуть на меня, сказать мне хоть слово, выкарабкаться из бездны, в которую уже погрузилась.

…Видя, что не могу быть ничем полезен, я решил уйти. Конечно, я мог еще остаться на некоторое время — и теперь, когда я думаю об этом, меня терзают горькие сожаления. Но ведь тогда я еще надеялся. Я убеждал себя, что она не может так сразу умереть…

Дойдя до опушки ельника, росшего позади дома, и ни на минуту не переставая думать о взгляде, которым Ивонна указала на окно, я стал внимательно, как часовой, как следопыт, обследовать лесную чащу, через которую Огюстен когда-то впервые пришел в Саблоньер и через которую он бежал из дому прошлой зимой. Увы, все было тихо вокруг. Ни одной подозрительной тени, ни единой дрогнувшей ветки. И только вдали, со стороны аллеи, которая вела в Преверанж, слышался слабый звон колокольчика; скоро из-за поворота показался на тропинке маленький

мальчик в красной скуфье и школьной блузе, следом за которым шагал священник… И я ушел, глотая слезы.

На другое утро начинался новый учебный год. К семи часам утра в школьном дворе уже появились первые ученики. Я долго не решался спуститься вниз, показаться перед ними. И когда наконец вышел, чтобы отпереть отсыревший класс, который простоял закрытым два месяца, случилось то, чего я так страшно боялся: от группы игравших на площадке мальчиков отделился самый старший и направился ко мне. Он сказал, что «вчера вечером умерла молодая госпожа из Саблоньера».

В голове у меня помутилось от горя. Мне показалось, что никогда в жизни не хватит у меня мужества начать урок. Пересечь голый школьный двор вдруг оказалось для меня таким непосильным трудом, что ноги у меня подкосились. Все стало тяжким и безрадостным, потому что она умерла. Мир опустел. С каникулами покончено. Покончено с долгими поездками в повозке но незнакомым дорогам, покончено с таинственными праздниками… В мире осталось только горе.

Я сказал детям, что до полудня уроки отменяются. Они разошлись небольшими группками

по своим деревням, чтобы сообщить эту новость товарищам. А я надеваю черную шляпу и черный сюртук и, удрученный, иду в Саблоньер.

И вот я перед домом, который мы так искали три года тому назад. Вчера вечером в нем умерла Ивонна де Гале, жена Огюстена Мольна. Посторонний принял бы дом за часовню — такая тишина установилась здесь со вчерашнего дня.

Так вот что готовило нам это погожее утро первого дня учебного года, это вероломное осеннее солнце, которое сочится сквозь ветви елок! Как совладать с подступившим к горлу комком, с наполнившим душу протестом? Мы отыскали прекрасную девушку. Мы завоевали ее. Она была женой моего товарища, а я — я испытывал к ней глубокое чувство дружбы, чувство, которое не нуждается в признаниях. Я смотрел на нее — и радовался, как ребенок. Быть может, в один прекрасный день я женился бы на другой девушке, и первым человеком, которому я доверил бы свою тайну, была бы она, Ивонна…

На двери, возле звонка, все еще висела вчерашняя записка. Внизу, в прихожей, был приготовлен гроб. В комнате второго этажа меня встретила кормилица; она рассказала мне о последних минутах покойной, открыла передо мной дверь

в ее комнату… Вот она. Нет больше ни жара, ни борьбы. Нет ни лихорадочного румянца, ни ожидания. Только тишина, только неподвижное, окруженное ватой лицо, непроницаемое, белое, только мертвый лоб, а над ним — густые тяжелые пряди.

В углу, спиной ко мне, примостился г-н де Гале; он без ботинок, в одних носках; со страшным упрямством шарит он по разбросанным в беспорядке ящикам, вытащенным из шкафа. Время от времени он вытаскивает то одну, то другую пожелтевшую фотографию дочери, и плечи его трясутся от бесшумных рыданий, как от приступов смеха…

Погребение назначено на полдень. Врач боится быстрого разложения, что случается иногда при закупорке сосудов. Вот почему лицо покойной, как и все тело, обложено ватой, пропитанной фенолом.

На нее надели прелестное платье темно-синего бархата, местами усеянное серебряными звездочками; при этом сильно помялись красивые пышные рукава вышедшего теперь из моды фасона. Когда подошло время принести снизу гроб, обнаружилось, что его не повернуть в узком коридоре. Оставалось одно: обвязать его веревкой

и поднять через окно, а потом тем же путем спустить в окно вместе с телом… Но тут г-н де Гале, до сих пор все возившийся со старыми бумагами, среди которых он искал бог весть какие сувениры, вдруг вмешался с неожиданным пылом:

— Я не допущу этого ужаса, — сказал он голосом, в котором слышались слезы и ярость, — лучше я сам, на своих руках отнесу ее вниз…

И он сделал бы это, рискуя потерять на полдороге сознание и упасть вместе со своей ношей!

Тогда я принимаю единственно возможное решение. С помощью доктора и одной из женщин я подкладываю руку под спину покойницы, другую — под ее ноги и поднимаю тело, прижав его к своей груди. Сидя на моей левой руке, привалившись плечом к правой, упираясь головой в мой подбородок, моя ноша страшно давит мне на сердце. Медленно, ступенька за ступенькой, иду я вниз по крутой длинной лестнице; внизу в это время спешно готовят гроб.

Руки мои наливаются невероятной усталостью. Каждая ступенька, каждый шаг с этой тяжестью на груди отнимают у меня силы. Обхватив неподвижное, налитое свинцом тело, опустив голову на голову моей ноши, я тяжело дышу, и ее русые волосы попадают мне в рот — мертвые волосы,

у которых привкус земли. Этот привкус земли и смерти да страшная тяжесть на сердце — вот и все, что остается мне от волшебного приключения и от вас, Ивонна де Гале, женщина, которую так искали и так любили…

Глава тринадцатая
ТЕТРАДЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В доме, полном грустных воспоминаний, сердобольные женщины выхаживали больного ребенка; старый г-н де Гале вскоре тоже слег. С наступлением первых зимних холодов он тихо угас, и я не мог сдержать слез у гроба этого славного старика, чья снисходительность, чьи фантазии, так похожие на фантазии его сына, положили начало всем нашим приключениям. Он умер счастливой смертью — в полном непонимании происходящего и в полном одиночестве… Поскольку у него давно уже не осталось в этих краях ни родственников, ни друзей, он в своем завещании назначил меня единственным наследником — до возвращения Мольна, которому я должен был дать полный отчет, если он вообще когда-нибудь вернется… Теперь я переселился в Саблоньер. В Сен Бенуа я ходил только на уроки; выходил я из дому рано утром, в полдень обедал в школе, разогревая на печке принесенную из Саблоньера еду, и вечером, сразу же после за-

нятий, возвращался домой. Это позволяло мне всегда быть рядом с ребенком, которого нянчили женщины с фермы. Но главное, это увеличивало мои шансы встретить Огюстена, если в один прекрасный день он вернется в Саблоньер.

К тому же я не терял надежды в конце концов обнаружить в доме, среди вещей или в ящиках шкафов, какую-нибудь бумагу, письмо, записку, которые помогли бы мне понять, что делал Мольн на протяжении долгих лет, за которые он не написал мне ни строчки, и, может быть добраться таким образом до причин его бегства, набрести на его след… Я уже обследовал без всяких результатов множество стенных шкафов и комодов, обнаружил в кладовых кучи древних картонных коробок всех размеров, наполненных связками старых писем и пожелтевших фотографий семьи де Гале и набитых искусственными цветами, перьями, султанами и прочими старомодными украшениями. От этих коробок исходил смутный запах увядания, какой-то угасший аромат который внезапно будил во мне печальные воспоминания и на целый день прерывая мои поиски…

Наконец в один из свободных от школы дней я наткнулся на чердаке на продолговатый плоский

сундучок свиной кожи, весь изъеденный мышами, в котором Я узнал старый сундучок Огюстена. Я упрекнул себя, что не начал поисков с чердака. Я легко сбил ржавый замок. Сундук оказался доверху наполненным тетрадями и книгами из Сент-Агата. Арифметика, литература, тетради с задачами… Скорей из чувства умиления, чем из любопытства, я принялся рыться во всех этих бумагах, перечитывать диктанты, которые я до сих пор помнил наизусть, — столько раз нам приходилось их переписывать! «Акведук» Руссо, «Приключение в Калабрии» Поля-Луи Курье, «Письма Жорж Санд к сыну»…

Здесь лежала также «Тетрадь ежемесячных контрольных работ». Меня это удивило, потому что такие тетради остаются в школе, и ученики никогда не берут их домой. Передо мной была тетрадка в зеленой обложке, совсем пожелтевшей по краям. Имя и фамилия ученика — «Огюстен Мольн» — были написаны на обложке великолепным почерком, округлыми буквами. Я раскрыл тетрадь. По дате первых работ — апрель 189… года — я увидел, что Мольн начал тетрадь за несколько дней до того, как навсегда уехал из Сент-Агата. Первые страницы были заполнены с превеликой тщательностью, что было у нас святым прави-

лом, когда мы писали в этих тетрадях. Но после трех исписанных страниц шли чистые листы. Наверное, потому Мольн и увез тетрадку с собой.

Стоя на коленях перед сундучком и размышляя о ребяческих традициях и обычаях, которые занимали такое большое место в нашей школьной жизни, я рассеянно перелистывал незаконченную тетрадь. И тут я увидел, что дальше опять идут исписанные страницы. Оставив четыре листа чистыми, Мольн снова стал что-то писать.

Это был все тот же почерк, но теперь торопливый, нечеткий, почти неразборчивый; листы пестрели абзацами неравной длины, между которыми оставались пробелы. Иногда — просто незаконченная фраза. Иногда какая-нибудь дата — и все. С первых же строк я понял, что здесь я найду разгадку тайны, которую так ищу, смогу узнать о жизни Мольна в Париже, и я спустился в столовую, чтобы, не торопясь, на досуге, при дневном свете, перелистать этот странный документ. Был ясный и ветреный зимний день. То выглядывало яркое солнце, и на белых занавесках отчетливо вырисовывался узор оконных переплетов, то порывистый ветер хлестал по стеклу струями холодного дождя. Усевшись перед окном, недалеко от камина, я стал читать

тетрадь, и она многое мне объяснила. Привожу точь-в-точь эти строки.

Глава четырнадцатая
ТАЙНА

«Я еще раз прошел под ее окном. За пыльными стеклами по-прежнему белеют опущенные шторы. Если бы Ивонна де Гале даже и отворила окно, мне нечего было бы ей сказать — ведь она замужем… Что мне теперь делать? Как жить?..

Суббота, 13 февраля. — Я встретил на набережной ту самую девушку, которая все рассказала мне в июне, которая, как и я, чего-то ждала тогда у заколоченного дома… Я заговорил с ней. Идя рядом, я искоса взглядывал на нее и видел едва заметные недостатки ее лица: крохотные морщинки в уголке рта, чуть впалую щеку, немного пудры у носа. Вдруг она повернула голову, посмотрела мне прямо в глаза — наверно, она сама знает, что анфас она красивее, чем в профиль.

— Это очень забавно — вы напоминаете мне одного молодого человека, который когда-то ухаживал за мной в Бурже. Он даже был моим женихом…

А потом в ночной темноте, на пустынном мокром тротуаре, отражавшем мерцание газового

фонаря, она внезапно шагнула ко мне и попросила пойти с ней и с ее сестрой сегодня в театр. Только тут я замечаю, что она одета во все черное, точно носит по ком-то траур, что на ней слишком старая шляпа, которая совсем не идет к ее молодому лицу, а в руках у нее зонт на длинной рукоятке, похожей на трость. Я стою совсем близко от нее и, сделав случайное движение рукой, задеваю ногтями шелк ее блузки… Я говорю, что сегодня мне трудно выполнить ее просьбу. Она сердится и хочет сейчас же уйти. И теперь уже я удерживаю ее и прошу пойти в театр. В это время, проходя мимо нас, какой-то рабочий шутит вполголоса:

— Не ходи с ним, малышка, он тебя обидит!

И мы оба страшно смущаемся.

В театре. — Обе девушки — моя подружка, которую зовут Валентина Блондо, и ее сестра — пришли в скромных шарфах.

Валентина села впереди меня. Каждую минуту она беспокойно оборачивается, будто недоумевая, чего я от нее хочу. А я чувствую себя рядом с ней почти счастливым и каждый раз отвечаю ей улыбкой.

Вокруг нас сидело много женщин, у которых были слишком оголены плечи и грудь. Мы под-

шучивали над ними. Она сперва улыбалась, а потом сказала: «Я не должна над ними смеяться. Я тоже пришла в слишком открытом платье». И закуталась в шарф. Действительно, сквозь черные кружева у низкого выреза ее платья видно было, что, спеша переодеться, она спустила с плеч свою простую закрытую сорочку.

В ней есть что-то жалкое, детское; что-то влечет меня в ее взгляде, какое-то страдальческое и вместе с тем смелое выражение. Когда я нахожусь рядом с ней, с единственным в мире существом, которое смогло рассказать мне о владельцах Поместья, я не перестаю думать о том странном своем приключении… Я хотел было еще раз расспросить ее о маленьком особняке на бульваре. Но она, в свою очередь, стала задавать мне щекотливые вопросы, на которые я не смог ответить. Чувствую, что отныне эта тема стала для нас запретной. И все же я твердо знаю теперь, что опять встречусь с ней. Зачем? Для чего?.. Или мне суждено вечно идти по следам любого человека, в котором послышится мне отзвук — пусть самый смутный и отдаленный — моего неудавшегося приключения?..

В полночь, оставшись один на пустынной улице, я спрашиваю себя, что означает эта новая

странная история. Я иду вдоль домов, похожих на выстроенные в ряд картонные коробки, в которых спит столько народу. Мне вдруг вспоминается решение, которое я принял месяц назад: когда-нибудь после полуночи отправиться туда, на бульвар, обогнуть особняк, открыть садовую калитку, проникнуть по-воровски в дом и попытаться отыскать хоть какой-нибудь след Затерянного Поместья, чтобы еще раз увидеть его, всего лишь увидеть… Но я устал. Я голоден. Я тоже спешил переодеться перед театром, и у меня не хватило времени на ужин… Взволнованный, встревоженный, я, прежде чем лечь, долго сижу на краю кровати и ощущаю смутные угрызения совести. Почему?

Вот что хочу еще отметить: девушки не пожелали, чтобы я их проводил, не сказали своего адреса. Но я шел за ними следом так долго, как только мог. Теперь я знаю, что они живут на маленькой улочке недалеко от Собора Парижской богоматери. Но в каком доме?.. Я догадался, что они швеи или модистки.

Тайком от сестры Валентина назначила мне свидание на четверг, в четыре часа, возле того самого театра, в котором мы были.

— Если я не приду завтра, — сказала она, —

ждите меня там в пятницу, в тот же час, потом в субботу — и так каждый день, пока я не приду.

Четверг, 18 февраля. — Я вышел из дому, чтобы встретиться с ней. Сильный ветер гонит черные тучи. С минуты на минуту начнется дождь…

Я иду полутемными улицами; на сердце тяжело. Упала капля дождя. Боюсь, что ливень помешает ей прийти. Но ветер принялся завывать с новой силой; на этот раз дождь опять прошел стороной. Там, высоко, в вечернем сером небе, то сером, то ясном, огромная туча отступила, должно быть, под натиском ветра. А я здесь, внизу, копошусь в земле, как жалкий крот, и чего-то жду.

Возле театра. — Проходит четверть часа; я уверен, что она не придет. Я стою на набережной и вижу, как вдали, по мосту, которым она должна была пройти, тянутся вереницы людей. Я провожаю взглядом всех молодых женщин в черном, которые идут с той стороны, и ощущаю чуть ли не благодарность к тем из них, кто дольше других сохраняет сходство с нею, позволяя мне надеяться…

Целый час ожидания. Я устал. Наступает вечер, страж порядка тащит в соседний участок какого-то проходимца, который голосом удавленника

изрыгает на него все ругательства, все оскорбления, какие он только знает. Полицейский бледен, в ярости, но молчит… Шагнув в коридор, он начинает дубасить свою жертву, потом закрывает за собой дверь, чтобы всласть избить беднягу… Мне приходит в голову ужасная мысль, что я отказался от рая и теперь топчусь на краю преисподней.

Измучившись ожиданием, покидаю свой пост и иду к той узкой улочке, между Сеной и Собором Парижской богоматери, где должен стоять их дом. Одиноко хожу взад и вперед. Время от времени из дверей выходит то служанка, то хозяйка и под мелким дождем идут в лавку, чтобы управиться до ночи со своими покупками… Нет, здесь мне нечего делать, и я ухожу… Сеется тихий светлый дождь, точно задерживая наступление темноты; я возвращаюсь на место свидания. Теперь здесь уже не пустынно, вокруг снует черная толпа…

Предположение. — Отчаянье. — Усталость. — Я цепляюсь за одну только мысль: завтра. Завтра, в тот же час, на том же месте, я снова буду ждать. И я страстно хочу, чтобы это завтра наступило скорее. С тоской думаю я, что впереди еще сегодняшний вечер, я не знаю, как мне убить завтрашнее утро… Но разве сегодняшний день уже почти не прошел?.. Вернувшись к себе, сажусь у

окна и слушаю, как кричат продавцы вечерних газет. Наверно, из своего дома, затерянного где-то в городе, возле Собора Парижской богоматери, она сейчас тоже слышит их.

Она… Это значит Валентина.

Вечерняя тоска, от которой я надеялся увильнуть, навалилась на меня всей своей странной тяжестью. Время идет, нынешний день движется к концу, и мне так хочется, чтобы этот конец уже наступил; а ведь есть люди, которые доверили этому дню все свои надежды, всю любовь и все свои последние силы. Кто-то сейчас умирает, у кого-то истекает срок платежа, и они мечтают о том, чтобы никогда не наступил завтрашний день. Есть люди, на которых это завтра нацелено, как угрызение совести. А иные устали, и как ни была бы длинна эта ночь, она не даст им желанного отдыха. Я же, растративший свой день впустую, по какому праву смею я призывать завтрашний день?

В пятницу вечером. — Я думал, что смогу дальше написать: «Я так и не встретился с нею больше». И все было бы кончено.

Но сегодня, около четырех часов дня, подходя к углу возле театра, я увидел ее. Тоненькая, серьезная, вся в черном, но с напудренным лицом

и в воротничке, который делает ее похожей на провинившегося Пьеро. Вид одновременно страдальческий и лукавый.

Она пришла только для того, чтобы сказать мне, что сейчас же уйдет, что мы больше никогда не увидимся…

. . . . . .

Но спустилась ночь, а мы все еще медленно ходим рука об руку по песчаным дорожкам Тюильри. Она рассказывает мне о себе, но так туманно, что я плохо понимаю. Говоря о своем женихе, который так и не женился на ней, она называет его: «Мой любовник». Я думаю, она делает это нарочно, чтобы задеть меня, чтобы меня оттолкнуть.

Мне бы так хотелось забыть некоторые ее фразы…

«Вы не должны мне доверять. Я всегда делала одни только глупости».

«Я бродила по дорогам совершенно одна».

«Я довела своего жениха до отчаяния; я бросила его, потому что он слишком восхищался мной; он видел меня только такой, какою я рисовалась в его воображении. А во мне столько недостатков! Мы были бы очень несчастливы».

Я постоянно ловлю ее на том, что она хочет

представить себя хуже, чем она есть на самом деле. Я думаю, она пытается сама себя убедить, что была права, когда совершила ту глупость, о которой она говорит, убедить себя, что ей не о чем жалеть и что она не была достойна того счастья, которое открывалось перед нею.

В другой раз:

— Что мне в вас нравится, — сказала она, посмотрев на меня долгим взглядом, — что мне в вас нравится, — это то, что вы почему-то пробуждаете во мне воспоминания…

И еще:

— Я по-прежнему люблю его, гораздо больше, чем вы думаете.

И вдруг добавила резко, грубо, печально:

— Чего вы в конце концов добиваетесь? Уж не любите ли вы меня — и вы тоже? И тоже собираетесь просить моей руки?..

Я что-то пробормотал. Сам не знаю, что я ей ответил. Может быть, я сказал: «Да».

На этом месте дневник обрывается. Дальше шли черновики писем — неразборчивые, бесформенные, все в помарках… Ненадежная помолвка!.. По настоянию Мольна, девушка оставила работу. Он занялся подготовкой к свадьбе. Но снова и снова

охватывало его стремление возобновить поиски, еще раз пойти по следу своей потерянной любви; вероятно, он несколько раз исчезал и, запутавшись в трагических противоречиях, пытался в этих письмах оправдаться перед Валентиной.

Глава пятнадцатая
ТАЙНА
(Продолжение)

Потом снова начинался дневник.

Тут были записаны воспоминания о поездке вдвоем с ней в деревню — куда именно, не знаю. Но странное дело, с этого времени, — возможно, из чувства стыдливости, — Мольн вел свой дневник так отрывисто и небрежно, да и писал к тому же так поспешно и неразборчиво, что, восстанавливая эту часть истории, я вынужден опять вести рассказ от своего лица.

14 июня. — Когда он проснулся утром на постоялом дворе, в его комнате на черной занавеси окна пылали зажженные солнцем красные узоры. Внизу, в трактире, громко разговаривали за утренним кофе батраки; грубыми фразами, но в довольно мирном тоне, ругали они кого-то из своих хозяев. Этот спокойный шум Мольн слышал, наверно, еще сквозь сон. Ибо он не сразу дошел до его сознания. Штора в заалевших от солнца виноградных гроздьях, утренние голоса, проникающие в тишину комнаты, — все слива-

лось в единое впечатление, все говорило, что ты проснулся в деревне и впереди — долгие радостные каникулы.

Он встал, легко постучал в соседнюю дверь и, не получив ответа, бесшумно приоткрыл ее. Он увидел Валентину и понял, откуда пришло к нему это ощущение безмятежного счастья. Она спала — неподвижно и тихо, как спят птицы: даже дыхания не было слышно. Он долго смотрел на ее детское лицо с закрытыми глазами, такое спокойное, что не хотелось будить и тревожить ее.

Но она проснулась и все так же, не шевелясь, открыла глаза и посмотрела на него.

Когда девушка оделась, Мольн снова пришел к ней.

— Мы заспались, — сказала она.

И сразу стала себя вести как хозяйка в собственном доме. Она принялась за уборку комнат, потом стала чистить костюм Мольна, в котором он приехал сюда накануне; дойдя до брюк, она огорчилась. Обе штанины были покрыты внизу толстой коркой засохшей грязи. Секунду поколебавшись, она, прежде чем взяться за щетку, стала осторожно соскребать ножом верхний слой земли.

— Так всегда делали мальчишки в Сент-Ага-

те, если нужно было счистить грязь, — сказал Мольн.

— А меня научила этому моя мать, — отвечала Валентина.

…Именно о такой подруге и мечтал, должно быть, Большой Мольн, прирожденный охотник и крестьянин, — мечтал до своего таинственного приключения в Поместье.

15 июня. — За ужином, на ферме, куда, к своей большой досаде, они были приглашены благодаря своим друзьям, представившим их как мужа и жену, Валентина вела себя робко, как новобрачная.

На обоих концах покрытого белой скатертью стола зажгли свечи в канделябрах, как на скромной деревенской свадьбе. Свет был неярок, и лица, склоняясь над тарелками, попадали в полумрак.

Справа от Патриса, сына хозяйки, сидела Валентина, потом Мольн, который упорно молчал, хотя за столом почти все время обращались к нему. С той минуты как он, чтобы избежать кривотолков в этой глухой деревушке, решил выдать Валентину за свою жену, его не покидали все те же сожаления, все те же угрызения совести.

И, глядя, как Патрис, словно помещик, председательствует за столом, Мольн думал: «А ведь я мог бы сегодня сидеть во главе стола в таком же низком, памятном для меня зале, — сидеть на своей собственной свадьбе».

Рядом с ним Валентина все время робко отказывалась от блюд, которые ей предлагали. Она казалась молодой крестьянкой. Каждый раз, как к ней обращались, она смотрела на своего друга, словно прося его о защите.

Патрис долго и безуспешно настаивал, чтобы она осушила свой стакан, пока наконец Мольн не наклонился к ней и не сказал ласково:

— Нужно выпить, Валентина, милая.

Она покорно выпила. И Патрис, улыбаясь, поздравил молодого человека с такой послушной женой.

Но Валентина и Мольн были по-прежнему молчаливы и задумчивы. Прежде всего устали; после долгой прогулки по грязной дороге у них зябли промокшие ноги на чисто вымытом кафельном полу кухни. Но, главное, время от времени юноша вынужден был говорить:

— Моя жена… Валентина, моя жена…

И всякий раз, глухо произнося это слово перед незнакомыми крестьянами, в этой темной

комнате, он не мог отделаться от чувства, что совершает ошибку.

17 июня. — Вторая половина этого последнего дня началась неудачно.

Они отправились на прогулку вместе с Патрисом и его женой. Шагая по неровным косогорам, заросшим вереском, обе пары разделились. Мольн и Валентина присели на траву в небольшой рощице, среди кустов можжевельника.

Было пасмурно, порой ветер приносил несколько капель дождя. Казалось, наступавший вечер таил в себе привкус горечи, привкус такой тоски, которую не может рассеять даже любовь.

Они сидели долго в своем тайнике, скрытые ветвями, почти не разговаривая. Потом небо прояснилось. И обоим показалось, что теперь все будет хорошо.

Они стали говорить о любви. Валентина говорила, говорила…

— Вот что обещал мне мой жених — ведь он был как дитя: он обещал, что у нас сразу же будет свой собственный дом, хижина, затерянная среди полей. Она уже совсем готова, — говорил он. — Мы приедем туда, точно возвращаясь из дальнего путешествия, вечером, с наступлением темноты, сразу же после венчания. И всюду, по

дороге и во дворе, — дети, совсем незнакомые нам дети, скрывшись в кустах, будут встречать нас радостными криками: «Да здравствует молодая!..» Какие глупости, не правда ли?

Мольн слушал с удивлением и тревогой. Во всем этом точно слышался отзвук знакомого голоса. А в тоне, в котором девушка рассказывала эту историю, звучало смутное сожаление о прошлом.

Но тут она испугалась, что причинила ему боль. Она повернулась к нему порывистым движением и сказала ласково:

— Я хочу отдать вам все то, что у меня есть, отдать то, что было для меня дороже всего на свете... И вы сожжете это!

Глядя на него пристальным, озабоченным взглядом, она вынула из кармана и протянула ему связку писем — писем своего жениха.

О, Мольн сразу узнал знакомый мелкий почерк. Почему он раньше ни разу не подумал об этом? Это был почерк Франца, почерк бродяги, почерк, который он видел когда-то, читал проникнутое отчаяньем письмо, оставленное в комнате Поместья...

Они шли теперь по узкой тропе, среди маргариток и трав, освещенных косыми лучами

предзакатного солнца. Мольн был так потрясен, что еще не понимал, каким крушением всех надежд должно обернуться для него это открытие. Он читал письма, потому что она попросила его их прочесть. Детские, сентиментальные, напыщенные фразы… Вот одна из них, в последнем письме:

«— О, вы потеряли сердечко, это непростительно, моя милая Валентина. Что будет с нами? Хотя я и не суеверен…»

Мольн читал, и глаза его застилали скорбь и гнев, лицо было неподвижно и бледно, только под глазами подергивалась жилка. Испуганная его видом, Валентина заглянула в письмо, чтобы понять причину такой ярости.

— А, это он подарил мне как-то брошку в виде сердца, — объяснила она с живостью, — и взял с меня клятву, что я буду вечно ее хранить. Еще одна из его безумных причуд.

Но Мольн окончательно вышел из себя.

— Безумных! — сказал он, кладя письмо к себе в карман. — Зачем повторять это слово? Почему вы никогда не хотели верить в него? Я его знал, это был самый чудесный юноша на свете!

— Вы его знали? — спросила она в страшном волнении. — Вы знали Франца де Гале?

— Это был мой лучший друг, мой брат и товарищ по приключениям — и вот я отнял у него невесту! О, как много зла вы нам причинили, — продолжал он в ярости, — вы, не желавшая ничему верить. Вы — виноваты во всем. Это вы все погубили, все погубили!..

Она хотела что-то сказать, взять его за руку, но он грубо оттолкнул ее.

— Уходите, оставьте меня.

— Ну что ж, если так, — проговорила она с пылающим лицом и еле сдерживая слезы, — я и в самом деле уйду. Я вернусь домой, в Бурж, вместе с сестрой. И если вы не приедете за мной, — вы ведь знаете, что мой отец слишком беден, чтобы меня содержать, — ну что ж, тогда я опять поеду в Париж, опять буду слоняться одна по дорогам, как это уже было со мной однажды, и, раз у меня нет больше работы, стану совсем пропащей...

И она ушла, чтобы собрать свои вещи и поспеть на поезд. А Мольн, даже не посмотрев ей вслед, все шел и шел по дороге куда глаза глядят.

Дневник опять обрывается.

Следовали новые черновики писем, строки, написанные человеком растерявшимся, не знающим, на что решиться. Вернувшись в Ла-Ферте-д'Анжийон, Мольн написал Валентине

— по-видимому, только для того, чтобы подтвердить ей свое решение больше не встречаться с нею и чтобы изложить ей причины этого; но, думаю, в действительности он писал потому, что в глубине души надеялся получить ответ. В одном из писем он спрашивал у нее про то, о чем в своем смятении не догадывался спросить раньше: знает ли она, где находится загадочное Поместье? В другом письме он умолял ее помириться с Францем де Гале. И обещал, что сам поможет его найти… Все письма, черновики которых я видел, вероятно так и не были отправлены. Но, должно быть, он все же послал ей два-три других письма, оставшихся без ответа. Это была в его жизни полоса жестокой внутренней борьбы и полного одиночества. Окончательно утратив надежду когда-нибудь разыскать Ивонну де Гале, он, должно быть, почувствовал, как постепенно слабеет его решимость. И вот, судя по нижеследующим страницам, — последним страницам дневника, — в одно прекрасное утро, в начале каникул, взяв взаймы велосипед, он отправился в Бурж, чтобы осмотреть кафедральный собор… Было совсем еще рано; он ехал среди лесов по чудесной ровной дороге и придумывал по пути сотни предлогов, которые позволили бы ему, соблюдая достоин-

ство и не прося о примирении, предстать перед девушкой, которую он сам прогнал.

Четыре последних страницы, которые мне удалось восстановить, рассказывают об этой поездке — об этой последней ошибке.

Глава шестнадцатая
ТАЙНА
(Окончание)

25 августа. — На дальней окраине Буржа, в самом конце недавно застроенных предместий с большим трудом отыскал он дом Валентины Блондо. В дверях стояла женщина — мать Валентины — и словно ждала его. У нее было доброе простое лицо, отяжелевшее, морщинистое, но еще сохранившее следы красоты. Она с любопытством смотрела на него, а когда он спросил: «Дома ли барышня Блондо?» — ласково ответила, что пятнадцатого августа обе вернулись в Париж. «Они не велели никому говорить, куда направились, — добавила она, — но если писать на их старый адрес, то письма до них дойдут».

Идя обратно через палисадник и ведя за руль велосипед, он думал: «Она уехала… Все кончилось, так, как я хотел… Я сам принудил ее к этом. «Я стану совсем пропащей», — сказала она. И я сам толкнул ее! Сам погубил невесту Франца!»

И, точно обезумев, стал шептать: «Тем лучше! Тем лучше!» — хотя сознавал, что, напротив,

все было «тем хуже» и что сейчас, не доходя до калитки, на глазах этой женщины, он споткнется и упадет на колени.

Он даже не подумал, что пора пообедать. Зайдя в какое-то кафе, он сел писать длинное письмо Валентине — без всякой цели, только для того, чтобы излить рвавшийся из него вопль отчаяния. В письме бесконечно повторялась фраза: «Как вы могли!.. Как вы могли!.. Как вы могли пойти на это!.. Как вы могли так погубить себя!

Рядом пьянствовала компания офицеров. Один из них шумно рассказывая какую-то сальную историю; слышались обрывки фраз: «Я ей говорю: «Неужели вы меня не знаете? Я каждый вечер играю с вашим мужем!» Остальные смеялись и сплевывали через плечо прямо на пол. Изможденный, в пыли, Мольн рядом с ними выглядел нищим. Ему представилось, как они сажают к себе на колени Валентину.

Долго колесил он на велосипеде вокруг кафедрального собора, твердя про себя: «Ведь в конце концов я приехал сюда, чтобы поглядеть на собор». А собор возвышался, огромный и равнодушный, на пустынной площади, куда сходились все улицы города. Улицы были узкими и грязными, как переулки вокруг деревенской церкви.

То здесь, то там виднелась вывеска публичного дома, красный фонарь… В этом квартале, нечистом, порочном, приютившемся, как в средние века, под сводами собора, Мольн почувствовал, как его боль уступает место страху, отвращению крестьянина к городской церкви, где из темных углов глядят изваяния всех пороков, церкви, которая выстроена рядом с дурными местами и потому не может дать успокоения высоким и чистым мукам любви.

Мимо в обнимку прошли две девицы, нагло взглянув на него. Сам себя презирая, но поддавшись игре, то ли наказывая себя за свою любовь, то ли стремясь окончательно ее унизить, он медленно поехал вслед за ними, и одна девица, несчастная, жалкая, с жидкими белокурыми волосами, скрепленными на затылке фальшивым шиньоном, назначила ему свидание на шесть часов в Архиепископском саду, в том самом саду, где Франц в одном из своих писем назначил свидание бедной Валентине.

Мольн не сказал ей «нет», зная, что к этому часу его уже давно не будет в городе. А та, войдя в дом на кривой улочке, долго еще выглядывала в низенькое оконце и делала Мольну какие-то непонятные знаки.

Он поспешил выбраться на дорогу.

Но перед отъездом не смог устоять против горького желания последний раз проехать перед домом Валентины. Он глядел вокруг во все глаза, впрок запасаясь печалью. То был один из крайних домов предместья; именно здесь улица превращалась в дорогу... Перед домом небольшой пустырь образовывал словно бы маленькую площадь. Нигде ни души — ни в окнах, ни во дворе. Только грязная напудренная девица прошла вдоль стены, таща за руки двух оборванных ребятишек.

Вот где протекало детство Валентины, вот где она впервые научилась смотреть на мир своими доверчивыми и чистыми глазами. За этими окнами она работала, шила. И по этой окраинной улице проходил Франц, чтобы увидеть ее, чтобы ей улыбнуться. Теперь здесь было пусто, совсем пусто... Грустный вечер казался бесконечным. Мольн знал лишь одно: где-то далеко, затерянная среди чужих людей, Валентина вспоминает сейчас эту унылую площадь, куда она больше никогда не вернется... Ему предстоял долгий обратный путь, который должен был стать для Мольна последним прибежищем от душевной тоски, последним вынужденным от нее отвлече-

нием, прежде чем он окончательно погрузится в нее с головой.

Он поехал. Вдоль дороги, в долине, на краю пруда, хорошенькие, окруженные деревьями домики выставляли напоказ остроконечные коньки своих крыш, украшенные резьбой. Наверное, там, на зеленых лужайках, милые девушки говорят между собой о любви. Там живут, наверное, люди с прекрасной душой…

А для Мольна существовала сейчас лишь одна на свете любовь — и эта несчастная любовь была так жестоко унижена; единственную во всем мире девушку, которую он должен был охранять и защищать, он сам недавно толкнул навстречу гибели.

Несколько торопливых строк дневника рассказывали мне, что он решил во что бы то ни стало, пока еще не поздно, разыскать Валентину. Число, проставленное в уголке страницы, навело меня на мысль, что как раз в это долгое путешествие и собирала своего сына г-жа Мольн в тот день, когда я явился в Ла-Ферте-д'Анжийон и нарушил все его планы. Солнечным утром, в конце августа, он сидел в бывшей мэрии и набрасывал свои воспоминания и проекты — в этот миг я распахнул дверь и принес ему великую весть, которой он

уже не ждал. И опять давнее приключение властно захватило его, связало по рукам и ногам: он не смел ничего предпринять, ни в чем признаться. Тогда сызнова начались угрызения совести, сожаления и тоски, и он то заглушал их, то им поддавался, пока в день свадьбы раздавшийся в ельнике крик бродяги не напомнил ему столь театральным манером о его первой юношеской клятве.

Все в той же тетради для контрольных работ, в спешке, на заре, перед тем как навсегда покинуть — с ее собственного разрешения! — Ивонну де Гале, которая накануне стала его женой, он нацарапал еще несколько слов:

«Я уезжаю. Я непременно должен напасть на след бродяг, которые пришли вчера в ельник и потом на велосипедах отправились на восток. Я вернусь к Ивонне только в том случае, если смогу привести с собой Франца и Валентину и поселить их в «доме Франца» как мужа и жену.

Эта рукопись, которую я начал как тайный дневник и которая превратилась в мою исповедь, станет, если я не вернусь, собственностью моего друга Франсуа Сэрелья».

Должно быть, он второпях сунул тетрадь вместе с другими бумагами в свой старый ученический

сундучок, запер его на ключ и исчез.

ЭПИЛОГ

Время шло. Я терял надежду когда-нибудь снова увидеть своего друга. Уныло и грустно, день за днем, проходила моя жизнь в крестьянской школе, в одиноком пустынном доме. Франц не явился в назначенный день на свиданье со мной, да к тому же тетя Муанель давно уже не знала, где живет теперь Валентина.

Скоро моей единственной радостью в Саблоньере стала девочка, которую удалось выходить. К концу сентября она была уже крепенькой и хорошенькой девчушкой. Ей должен был исполниться год. Хватаясь за спинки стульев, она смело отпускала их и, не боясь упасть, старалась самостоятельно протопать по полу; в опустелом доме долго гудело глухое эхо, разбуженное этой возней. Когда я брал ее на руки, она никогда не давала себя поцеловать. Вертясь и отбиваясь, она очаровательно дичилась, отталкивала ладошкой мое лицо и заливалась смехом. Казалось, своим весельем, своим детским буйством она сумеет прогнать печаль, нависшую со дня ее рождения над этим домом.

Иногда я говорил себе: «Пусть она сейчас меня дичится, все равно это немного и мое дитя». Но и на сей раз судьба распорядилась по-иному.

Как-то воскресным утром, в конце сентября, я встал очень рано, даже раньше крестьянки, которая нянчила девочку. Я собрался на Шер ловить рыбу вместе с Жасменом Делюшем и двумя парнями из Сен-Бенуа. Мы частенько договаривались с крестьянами из соседних деревень о совместных браконьерских вылазках — ловить ночью на удочку, ловить запрещенными снастями… Летом мы каждый свободный день с рассвета до полудня пропадали на реке. Почти для всех этих людей ловля была средством подработать. А я видел в ней единственное развлечение, напоминавшее мне прежние наши проделки. В конце концов я вошел во вкус этих дальних прогулок, этих долгих часов на берегу реки или в камышах у пруда.

Итак, в то утро я стоял в половине шестого возле дома, под небольшим навесом у стены, которая отделяла заросший саблоньерский сад от огорода фермы. Я разбирал свои сети: в прошлый четверг я бросил их в общую кучу.

Солнце еще не взошло, над землей висели предрассветные сумерки, предвещавшие погожий сентябрьский день, и под навесом, где я тороп-

ливо разбирал свои снасти, было темно, почти как ночью.

Я стоял так, целиком поглощенный своим делом, и вдруг услышал скрип калитки и хруст шагов по песку.

«Вот те на! — сказал я себе. — Мои приятели пришли раньше, чем я думал. А я-то еще не готов!..

Но человек, вошедший во двор, был мне незнаком. Насколько я мог разглядеть, это был высокий бородатый детина, одетый как охотник или рыбак. Вместо того чтобы направиться к навесу, где, как знали мои товарищи, меня всегда можно было застать в этот час, он пошел прямо к дому.

«А, верно, это кто-нибудь из их друзей, которого они тоже пригласили, не предупредив меня, и вот он пришел разузнать, что и как», — подумал я.

Человек легонько, совершенно бесшумно потрогал щеколду на двери. Но, выйдя из дома, я запер дверь на замок. Он проделал то же самое с кухонной дверью, но и она была заперта. Тогда, секунду постояв в нерешительности, он повернулся ко мне, и я увидел в полумраке его встревоженное лицо. Только тут я узнал Большого Мольна.

Я долго стоял, не двигаясь с места, испуганный,

растерянный, охваченный внезапною скорбью, которую разбудило во мне его возвращение. А он скрылся за углом дома, обошел его кругом и, появившись вновь, тоже остановился в нерешительности.

Я подошел к нему и, не говоря ни слова, обнял его и зарыдал.

Он все понял.

— Значит, она умерла? — проговорил он отрывисто.

И остался стоять, отупевший от боли, неподвижный, страшный. Я взял его за руку и тихо потянул к дому. Уже светало. Чтобы скорее исполнить самое тяжкое, я сразу повел его по лестнице в комнату покойной. Войдя, он упал на колени перед ее кроватью и долго стоял так, спрятав лицо в ладони.

Наконец он поднялся пошатываясь, с блуждающим взором, точно не понимая, где он. И, снова взяв его за руку, я повел его к дверям в комнату девочки. Она уже проснулась и одна — ее нянька была внизу — спокойно сидела в своей кроватке. Мы увидели, как она обратила к нам удивленное личико.

— Вот твоя дочь, — сказал я.

Он вздрогнул и посмотрел на меня.

Потом схватил ее и поднял на руки. Сначала он даже не мог видеть ее, потому что плакал. Тогда, чтобы успокоить немного свое волнение и унять поток слез, он крепко прижал девочку к себе и, повернув ко мне склоненную голову, сказал:

— Я их привел, тех двоих… Они там, в своем доме.

И в самом деле, в то же утро, когда, задумчивый и почти счастливый, я пошел к дому Франца, который когда-то, пустынным и безлюдным, показала мне Ивонна де Гале, я еще издали увидел на пороге молодую хозяйку в белом воротничке: она подметала крыльцо, вызывая восторженное любопытство у маленьких пастушат, спешивших в своих воскресных костюмах к обедне…

…Девочке наскучило неподвижно сидеть на руках у Мольна, который, отвернувшись, чтобы скрыть слезы, все еще не смотрел на нее, и она довольно сильно шлепнула его ручонкой по мокрому бородатому лицу.

Тогда отец подкинул свою дочку вверх и, засмеявшись, взглянул на нее. Девочка радостно захлопала в ладоши…

Я отступил назад, чтобы лучше их видеть. Немного расстроенный, но все же восхищенный этой картиной, я понял, что девочка нашла наконец

товарища, которого, сама того не ведая, она так ждала… Я чувствовал, что Большой Мольн пришел отнять у меня ту единственную радость, которую он мог мне еще дать. И я уже видел, как, завернув дочку в свой плащ, он шагает в ночь, навстречу новым приключениям.

СОДЕРЖАНИЕ
Ален-Фурнье.
Большой Мольн…… 3
Эжен
Фромантен. Доминик…… 177
Анри Барбюс. Нежность……
376

Литературно-художественное издание «Фатум»
«Романтика» — 4

Ален-Фурнье
БОЛЬШОЙ МОЛЬН
Эжен Фромантен
ДОМИНИК
Анри Барбюс
НЕЖНОСТЬ
Романы, новелла

Издательский центр «Эль-Фа» при полиграфкомбинате имени Революции 1905 года

Ответственный за выпуск В. Я. Котляров
Художник М. М. Горлов.
Технический редактор Л. И. Прокопенко
Корректор Р. А. Тхакумачева
Наборщик и верстальщик Л. А. Ковальчук.
Печатники В. А. Казанцев, С. В. Пустовалов
Сдано в набор 13.01.93. Подписано в печать 28.09.93. Формат 84Х108 /з2. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать офсетная. Усл. п. л. 20,86. Усл. кр. — отт. 21, 28. Уч. изд. л. 21,98 Тираж 40 000 экз. Заказ № 125. Св. р. ц.
Полиграфкомбинат имени Революции 1905 года 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 33

Серия «Фатум», раздел «Романтика»: Романы, новелла /Ален-Фурнье, Э. Фромантен, А. Барбюс/ . Пер. с франц. Сост. В. Н. Котляров. — Нальчик, издательский центр «Эль-Фа», 1994.— 384 с. Выпуск 22.
ISBN 5-88195-048-8